

Вс

НИКОЛАЙ ЖДАНОВ

Ж 42
Р33226

ЛЮДИ, ТВЕРДОЙ ВОЛИ



· МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ·

1944



НИКОЛАЙ ЖДАНОВ

ЛЮДИ
ТВЕРДОЙ ВОЛИ

Р а с с к а з ы

33226

Издательство ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия»
1944

o+c-42+pycen

МАНЕВР

СНАРЯД} разорвался, и эхо разрыва глухо загрохотало вдоль невидимого в темноте берега.

— Держи левее! — посоветовал Карасюк.

Уже более часа он и Авдеев шли под огнем, ведя за собой две старые шхуны. Задача, которую поставил перед ними командир десанта Осьмушин,— проста и ясна: надо пробраться вдоль берега, занятого немцами, и, как говорил Осьмушин, убедить фрицев, что перед ними большой десант моряков. Вот и все. Немцы откроют огонь, стянут сюда силы, а в это время Осьмушин высадит на другом участке десант и ударит во фланг.

Особый, яростный и веселый азарт, исходивший от каждого слова и жеста Осьмушина, сразу, как огонь бересту, захватил и зажег обоих краснофлотцев. Весь день Авдеев и Карасюк готовились к операции. Их было всего двое на катере. В шутку они называли друг друга командиром и комиссаром:

— Товарищ командир Авдеев!

— Товарищ комиссар Карасюк!

— А как наш десант? — И они с улыбкой оглядывали пустые старые шхуны...

Опять в темноте, словно стук деревянного молота, раздались глухие удары. Сразу завывло несколько снарядов. Они стали лопаться где-то совсем рядом, швыряя катер из стороны в сторону и обдавая его водой. Теперь уже не было в этих разрывах прежней методичности. Один гул вливался в другой, и раскаты взрывов переходили в нарастающий вой новых снарядов. Казалось невероятным, что катер все еще держится на воде и что маленький керосиновый двигатель упрямо стучит, унося его вперед, в ночь, освещаемую зарницами разрывов.

Карасюк, шатаясь, подошел к Авдееву.

— Ну что, комиссар? — не отпуская штурвала и попрежнему глядя вперед, спросил Авдеев.

Неловко улыбаясь, Карасюк вместо ответа быстро юркнул в проход за железную стену рубки, потому что у борта разорвался снаряд и катер подбросило так, что он поднялся на ходу и бортом зачерпнул воду.

Грохот стих, и странная тишина неожиданно нависла над морем. Берег молчал, и молчал катер. Волны медленно катились мимо. Тяжелое, сырое небо давило на воду. Желто-бурое зарево далекого пожара то поднималось над волнами, то снова исчезало во мгле.

— Карасюк, эй! — крикнул Авдеев, отходя от рубки и заглядывая в моторный отсек.

Ответа не было. Тогда Авдеев стал спускаться вниз по маленькому трапу и наткнулся в полутьме на распластанного в проходе Карасюка. Он лежал на полу лицом вниз, откинув руку на выступ нижней ступени.

— Ты что, а? — спросил Авдеев, склоняясь над ним и чувствуя сжимающую горло дрожь.— Сема! — взволнованно произнес он, опускаясь на колени. — Сема, комиссар!

Он попытался повернуть его голову к себе и сразу ощутил под рукой теплую, еще бьющую струю крови. Напрягаясь, он подхватил тело своего друга, одетого в плотный, пахнущий машинным маслом комбинезон, вынес его из прохода, положил у пулемета и, достав из кармана бит, стал торопливо перевязывать рану. Ему казалось, что его неумелые движения причиняют Карасюку боль, и он все время говорил какие-то бессвязные, успокаивающие, ласковые слова. Он уже заканчивал перевязку, когда вновь услышал свистящий, стонущий звук, за которым послышался грохот разрыва.

«Мина», решил Авдеев и осмотрелся.

Плотные, тугие волны с прежней неторопливостью катились мимо, покачивая катер. Теперь они были светлее, чем раньше. Тусклое оловянное небо чуть поднялось, раздвинулось, стало отчетливее, и справа от себя Авдеев ясно различил коричневые очертания берега.

Надо было возвращаться к тому, что находилось

где-то за пределами его горя и требовало новых усилий воли, решений, действий. Он снял плащ и накрыл им неподвижно лежащего Карасюка. И вдруг с какой-то почти болезненной растерянностью он понял, что остался один. То, к чему он привык за два года службы с Карасюком на этом законченном, старом катере, нарушено вмешательством непоправимых обстоятельств. Маленький неразговорчивый Карасюк стал за эти годы неотъемлемой, необходимой частью его самого, его жизни, службы, размышлений и дел. С внезапным испугом он припомнил, что за все время, пока он возился сейчас с Карасюком, тот ни разу не простонал, не произнес ни одного звука. Авдеев торопливо опустился на колени и со страхом всмотрелся в неподвижное лицо друга.

— Сема! — позвал он. — Сема, друг ты родной! Слышишь?

Карасюк с усилием поднял тяжелые веки и слабым движением языка облизал запекшиеся губы. Неловкая, как бы виноватая улыбка появилась на его осунувшемся, позеленевшем лице, и он еле слышно пробормотал:

— Я сейчас... сейчас; ты иди... я сейчас...

Он сделал неуверенное движение рукой, но тотчас же голова его запрокинулась снова и глаза медленно закрылись.

Авдеев почувствовал неизъяснимое желание обнять своего друга, сказать ему какие-то особые,

дающие силу слова, но он только медленно приблизил к нему свое лицо и, поцеловав холодный, влажный лоб, встал и пошел к мотору.

Авдеев долго возился, пытаясь завести его, пока не обнаружил, что бак пробит осколком и бензин вытек. Он заделал пробойну тряпкой и, налив горючего из запасного бака, запустил мотор. Вернувшись в рубку, он несколько секунд раздумывал, что же делать дальше.

Все это время, пока Авдеев не принял определенного решения, его не покидала мысль о возвращении. «Задача почти выполнена. Надо спасти Карасюка. Буксир уже не пригоден для операции» — эти доводы один за другим мелькали в голове. Он смутно чувствовал, что не эти доводы, а все нарастающий огонь немецкой артиллерии заставляет его так охотно и с каким-то сладостным облегчением думать о возвращении в гавань. Но что-то мешало ему принять это решение. Он смутно понимал, что есть другой, более сильный аргумент, перед которым все эти рассыплются в пыль и потеряют всякую силу. Это трудно было объяснить даже самому себе. Но он твердо знал, что не сможет жить, уважать себя, смотреть в лицо и Карасюку, и Осьмушину, и всем другим людям, если он подчинится сейчас благоразумной логике этих доводов.

Авдеев взглянул на лежавшего у пулемета Карасюка и поймал на себе недоумевающий, упорный

взгляд раненого товарища. Казалось, тот угадывал его мысли, и Авдееву вдруг стало невыносимо стыдно своей нерешительности.

— Сейчас, сейчас! — крикнул он как бы в ответ на безмолвный вопрос друга и, взявшись за руль, развернул катер прямо к берегу противника.

Вокруг попрежнему рвались снаряды и мины, но их вой теперь только раздражал его, не вызывая никакого беспокойства. Небо стало шире и выше, и на упругих, тугих скатах волн играли металлические блики балтийского рассвета. Авдеев посмотрел на часы. Они показывали как раз то время, когда Осьмушин должен был высаживать свой десант. Он представил себе решительное, упрямое лицо Осьмушина, и опять ему стало стыдно, что его могла занимать мысль о возвращении в гавань.

Авдеев снял поясной ремень, крепко закрепил им штурвал руля так, чтобы катер сохранял взятое направление, и вновь подошел к раненому. Теперь лицо Авдеева было совсем спокойно, и в глазах светился веселый огонек.

— Сейчас мы им покажем, Сеня. Сейчас, товарищ комиссар!

Он достал дымовую шашку и, закрепив ее на корме, зажег фитиль. Затем он, с улыбкой человека, уверенного в том, что он принял правильное решение и будет его выполнять до конца, хотя бы это стоило ему жизни, подошел к пулемету. Катер на полном ходу двигался к берегу, рассекая волну

и оставляя за кормой непроницаемую завесу дыма. С берега загрохотали новые выстрелы. Снаряды разрывались вокруг, выбрасывая высокие гейзеры воды, так что катер мчался как бы по аллее непрерывно вырастающих из воды белых кустов.

— Держись, Сенечка дорогой! — кричал Авдеев, прижав к пулемету и открывая огонь по берегу. В эту минуту он был убежден, что нет такой пули, которая сразила бы его. Ствол пулемета нагрелся, в кожухе закипела вода, пустые ленты одна за другой ложились к его ногам, слабо дымясь и издавая запах пороховой гари.

Бледный, умирающий Карасюк, широко и радостно раскрыв глаза, слушал бой, как слушают любимую песню, доносимую издали порывами ветра. На губах его застыла слабая, почти детская улыбка.

До берега оставалось всего несколько сот метров, когда Авдеев снова бросился к рулю и развернул катер, закрыв его от глаз врага пеленой белого шашечного дыма.

В это время снаряд ударил в одну из шхун, стоявших на причале, и разбил ее в щепы.

«Накрывают!» со злостью подумал Авдеев и подошел к пулемету. Казалось, что близкие разрывы снарядов только придают ему силы, увеличивают задор.

Страшный удар в корму разворотил катер. Пробитые осколками тела друзей лежали рядом у замолчавшего пулемета.

Наступила та особая, почти торжественная тишина, которая возникает только в бою,—мгновение, разделяющее два залпа. Сырой ветер донес далекий треск пулеметов с той стороны, где высадился отряд Осьмушина.

Ни Авдеев, ни Карасюк уже не могли этого слышать.

К вечеру ленивые волны прибили к береговым валунам искалеченный снарядами катер. В этом месте берег был снова наш.

Осьмушин вброд добрался до катера. Уставший, мокрый, с перевязанной бинтом головой, он долго стоял на высоком камне, к которому волнами прибило катер. Ветер трепал его слипшиеся от крови волосы. Сверкающие в красных отсветах заката брызги волн обдавали тела двух лежащих на развороченной палубе краснофлотцев.

«Прав ли я был, вмешавшись в их судьбу?» Мысль эта на секунду мелькнула в усталом мозгу Осьмушина, но он сразу отогнал ее. Он видел не раз, как люди, от которых борьба требовала жизни, отдавали ее. Он считал это правильным и знал, что сам поступит так же.

На берегу яростно заработал пулемет. Война торопила командира к его делам, и, медленно повернувшись, он тихо побрел по воде к опаленному боем берегу,

«КОЧЕГАР БОЯ»

БЫЛ у нас один, веселый такой, чубастый. Мы тогда на берегу дрались, а они в море подлодки немецкие глушили. Катерок у них продолговатый, юркий, «охотник» называется. И с него они подлодку, как рыбу, бомбами достают. Только рыба глушенная наверх идет, а подлодка на дно, и оттуда пузыри пускает и пятна нефтяные дает. Пятна эти блестят, и в них все видно, как в зеркале. Смотрят бойцы — лежит лодка, как выпотрошенная, — затонула, значит.

Вот мчатся назад, довольные. А разве знаешь на войне, где выпьешь, где влипнешь? С налету — стук на мину!

Одиннадцать человек их было. Шесть на берег выбрались, промерзшие, синие. А у нас — какой же санаторий — бой идет. Ну, спиртом мы их натерли, внутрь дали. А немец прямо к гавани прет. Вот их на другой день — по ротам. Вы, мол, моряки, люди бывалые, а у нас парод молодой, необстрелянный, покажите пример, как в атаку ходить.

Этот как раз в нашу роту попал. Комиссар привел. Знакомимся.

— Кочегар я,—говорит,—первой статьи, но и по другим статьям тоже не последний. Родился в 1916 году не по собственному желанию. Только мать меня родила легко и в самую ночь под воскресенье. Оттого живучий я, ничто меня не берет. Вот пойдем в атаку — увидите...

И что же ты думаешь, — сквозь пули ползет! Пулеметные расчеты фрицевские гранатой снимает и живой возвращается. Ну и уважали его бойцы! И комиссар любил. «Кочегаром боя» звал. «Он,—говорит, — весь жар дает в сражении».

Так ведь из других рот приходили. «Дай нам «кочегара»: атака зажухла, требуется огоньку подбросить». Не давал комиссар. Берег. Живуч, живуч, а все может случиться. «Он-де у меня боец, а не гастролер, — своих таких заведите».

Привык к нам. Однако по морю скучал. Выйдет другой раз на берег, сидит, смотрит на волну, думает.

Как раз в это время танкисты нам Рансу привезли. С ней тоже история: на рассвете вырвался наш «КВ» к одной деревне. А от околицы навстречу девушка:

— Куда вы? Немцы тут.

— А мы их ищем. Знаешь, где они?

— Знаю.

— Ну садись!—Крышку ей открыли. Она—в танк. Сидит, указывает: «Вот тот дом у скворечни».

Они с ходу на дом. Только бревна хрустят да кости немецкие. Самый штаб их был тут.

— Теперь, — говорит, — сюда, к овину, — склад там.

И все — чисто по расписанию. Очухались немцы, а наших уж и след простыл, только пыль на огороды ложится.

— Ну, — говорят, — девушка, спасибо. Вылезай!

— А куда ж я теперь без вас?

Вот они ее к нам в роту. Комиссар ее к медали записал, форму выдал: «Дружинницам будешь помогать».

Утром вышел «кочегар боя» к морю. Глядит, купается кто-то. Гимнастерка на камни брошена, сапоги. «Дай, — думает, — и я выкупаюсь». Разделся, плышет, а это Раиса.

Задорная она была, белозубая, крепкая, как камень, и гибкая, будто молодая яблоня. Увидал он ее, оробел даже. А она в лицо ему брызжет. «Не туда пикируешь!» кричит.

И бывает же так — первый человек в атаках, а тут растерялся, сконфузился: кое-как выбрался на берег да тягу. А она его заметила. Завидит [где, по-другам что-то шепчет, и хохочут все.

Не могу сказать, как это его задевало. Мрачнел. Злился. «И зачем, — говорит, — только их на войну берут, баб этих». А издали увидит ее, зардеется, словно мальчик. Видно, полюбилась ему Раиса. Загрустил парень. А тут еще бои прекратились. Вы-

дохся немец, закопался в землю, и мы тоже начали закапываться. Только мины нам очень мешали. Установили немцы батареи в противотанковом рву. Ну и постреливают. Дорогу просматривали. Ни подъезду, ни провозу.

И решено было взять ров обратно.

Ночью собрались мы в траншею. Впереди голое поле, метров сто, за ним ров этот.

Вот поползли. А немец ракеты жжет. И вдруг мины завали, пули! А до рва еще степь дикая. Мы обратно, в траншею. И так раза три. Все меньше нас становится. А дела-то и не начинали еще.

Только замечаем: все мины вправо ложатся вглубь, а нас пулемет сечет косопрядельным огнем из рва. «Кочегар боя» говорит: «Разрешите, товарищ комиссар, я один поползу. Мне, — говорит, — огня бояться нечего. Мне одна цыганка нагадала, что вообще я от клюквенного киселя умру, объежусь, должно быть. И вправду, очень я этот кисель люблю, особенно, когда он теплый да чтоб с холоденьким молочком». И ведь надо же — чего только не придумает человек в такую минуту!

Комиссар обнял его, поделовал, запалы в гранатах проверил. Пополз он. А все, как на ладони, видно.

Тяжелое это дело — смотреть, как человек на смерть ползет. Земля кругом мертвая, пришибленная, глухая. Убито вроде в ней все. Хребет словно

какой сломан. И ни ласки уж нет от нее, ни укрытия.

Вот один разрыв около него ложится. Другой.. Заметили, стало; сейчас накроют.

И видим мы это, бойцы, и немоготу нам. Горло давит. На наших глазах человек умирает, и за нас он это, а мы стоим. Гляжу, вырывается из траншеи один: боец не боец — баба! Раиса это! И комиссар не выдержал. Крикнул что-то, и бросились мы все на ров.

В мирное время на стадионе я стометровку в одиннадцать секунд брал. И тут, думаю, не больше мы бежали. Пулемет их только взялся и сразу хрюкнул, смолк. Мы в ров вскочили.

Минут так двадцать или сколько — не знаю, что было. Не могу рассказать. Такое чувство охватывает, словно чем больше грома, свиста, опасности, тем легче тебе. Ищу еще живых цемдев. Нету их больше во рву: все перебиты.

Собрались мы, осмотрелись. Под ногами трупы немецкие в два ряда, ходить скользко.

Но где же «кочегар боя»? Ребята видели, как он вскочил, когда началась атака, метнул гранату метров на сорок вперед (здорово он умел это делать), а затем пропал в дыму. Пулемет не мешал нашей атаке: значит, кочегар его уничтожил. Но где он сам? И вдруг замечаем — ползет кто-то ко рву. Тяжело ползет: двинется чутку и никнет

к земле. Так и есть — «кочегар боя»! Но видно, совсем не под силу ему. А ракеты выются — светло, как в кино. Тонко так мина проныла. Одна... Другая... Снова треск над полем.

Смотрим, появляется из воронки Раиса. Как она выбралась на поле, не заметил никто. Ползет прямо к нему. «Кочегар» заметил ее тоже. Приподнялся чуть, рукой замахал — уйди, дескать, погибнешь из-за меня. Сам попробовал ползти — упал! Тут тяжелая батарея их вступила. Пыль. Ничего не видно. Потом глядим, а она уж голову его на колено себе прислонила, бинтом перевязывает. Ей бы сразу в траншею его тащить, так нет. Ударил снаряд, и ведь далеко разорвался от них, но, видно, осколком достал. Приникли оба к земле и... не поднялись больше.

Да... Вот так-то.

Утром уже, когда все контратаки отбили, похоронили мы их обоих около рва, на высотке. И вот сколько месяцев рубеж этот держим, так каждый день немцы могильный холмик снарядами обстреливают. А бойцы его цветами украшают и листьями. Вся земля вокруг холма этого взрыта и огнем опалена. Чуют немцы, что лежит тут в земле что-то дорогое нам. А что — не понять им. Вот и бьют с досады!

Потом, когда сгинут они с земли нашей, зарастет высотка та травой и ров танковый, словно

шрам боевой, затянется. А люди, я думаю, не забудут этого моряка, любовь его чистую, невысказанную и веселую девушку Раису. Не забудут, потому что отдали они людям свое счастье нераскрывшимся, нетронутым. И может расцветет еще на земле их любовь. Ведь людям-то она всего нужнее, верно?

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ СИМФОНΙΑ

ШОФЕР гвардейского артдивизиона Матуев сездил с пакетом в поарм и теперь возвращался в свою часть. Был самый разгар наступательных боев на фланге армии. Утомленный дорогой, шофер был молчалив, озабочен и не обратил ни малейшего внимания на молодую девушку, поместившуюся на заднем сиденье. Девушку эту попросил его захватить с собой начальник санитарной службы, военврач 2-го ранга Семенов. «Она была ранена, — сказал он, — а теперь после лечения возвращается к нам в часть».

— Вы меня не помните? — спросила девушка. — Меня зовут Полина. Полина Игнатьева. Я у вас в дивизионе почти полгода служила, под Каменском была. Я там и в комсомол вступила.

Видя, что шофер не узнает ее, она заметно огорчилась и замолчала.

Матуеву почему-то стало неловко.

— Может быть, — сказал он. — У нас комсо-

мольцев много! Садитесь, доедем. Игнатьева, говорите?

— Меня все звали «Полюшко», — ответила девушка и сердито уселась на заднее сиденье, положив на колени свою сумку с нарисованным на ней красным крестом.

Сначала машина катилась по старому, знакомому Полине пути, но потом вышла на дорогу, только что пройденную наступавшей армией. Всюду, в полях и перелесках, виднелись следы машин, и нельзя было иной раз понять, старый ли тут проселочный тракт рѣзрыхлен многочисленными колесами или прошел по целине танковый отряд, разравнивая и стирая бугры тяжелыми гусеницами. Недаром живет старая пословица на новый лад: «Где танк прошел, там путь лежит».

Неразговорчивые регулировщики, стоя на больших развилках со своими желтыми и красными флажками, на вопрос «куда?» только машут рукой по следу:

— На запад!

Туда движется непрерывный поток машин и людей, а оттуда уже тянет гарью, все чаще торчат по краям дорог обгоревшие печные трубы—унылые памятники войны. Там и тут валяются гаубицы, будто телескопы, в которые кто-то пытался рассмотреть причины происходящей на земле катастрофы, да так и бросил их здесь, отчаявшись разобраться в этом...

А от горизонта то и дело доносится глухой рокот. Это встревоженное море войны выбрасывает на берег железные волны, и они с грохотом катятся по земле, корежа и коверкая растущие на ней леса, сметая налитые силой хлеба и травы, ломая и уничтожая огнем деревни и города.

Навстречу этим железным волнам движутся и движутся люди, чтобы грудью своей принять удар и отстоять родную землю от поругания и бесчестия.

Вот и их машина спешит по следу войны, и только пыль серым слоем оседает на задке у красного сигнального фонарика.

Темнеет. Деревни уже не попадают на пути. Начался и вновь перестал дождь, а машина все движется вперед, разбрызгивая звезды, плавающие в наполненных дождевой водой колесах. Наконец она останавливается у какой-то изгороди. Впереди чернеют деревянные постройки и обгоревшие развалины; в воздухе стоит запах сырых бревен и прелых соломенных крыш. Дорога уходит вниз под обрыв. Там видно холмистое поле, покрытое могучей гривой еще не сжатой и, должно быть, осыпающейся ржи. Над холмом поднимается из-за неподвижной облачной гряды большой красный, неровный по краям месяц. Его лучи неуверенно пробираются сквозь туманную дымку над полем, словно боясь наткнуться на страшный след жестокой войны.

— Кажется, здесь, — говорит Матуев.

Действительно, их уже окликает часовой, незна-

комый Полине, должно быть новый боец. Машина берет чуть влево и, подъехав к самому обрыву, останавливается у маленького, скрытого в тополях домка.

Полина выходит из машины и, неровно ступая неловкими от долгого сиденья ногами, идет за Матуевым. Сердце ее учащенно стучит, когда она входит в дом. На деревянных лавках, поставленных вдоль стен и около стола, сидят при свете «летучей мыши» дорогие ей люди дивизиона. Вот черноголовый маленький замначштаба Каюров, рядом с ним — лысый, с густой бородой, похожий на старообрядца, командир батареи капитан Рябов — «старик», как зовут его артиллеристы. А вон быстроглазый бритоголовый любимец майора наводчик Нагульный. Тут же, в углу, под неснятыми образами сидит рядом с гармонистом Василием и сам майор Капралов. У него угловатое лицо и тяжелый, выдающийся лоб. Не зная его, можно подумать, что этот человек грозен и груб, на самом же деле он мягок и добр, а в бою смел и азартен.

Тут, видимо, только что был командирский сбор.

Полина ждет, пока Матуев докладывает майору, смотрит на всех и боится двинуться: «Неужели не узнали, неужели?» думает она.

— А это кто с тобой? — спрашивает Капралов.

— Полюшко! — кричит он вдруг радостно и встает: — Ты ли это?

— Полюшко!—удивляется Нагульный.—Она! Ишь ты! Здорова? Жива?

— Что Полюшку нашему делается!—басит Рябов и на правах «старика» отечески обнимает и целует Полину в щеку.

Все обступают ее, жмут ей руку.

А она не может сказать ни слова и только чувствует, что лицо у нее щекочут слезы.

— Ты что это, девушка, плакать к нам приехала? — удивляется Каюров.

— Да уж, действительно, чуть не разревелась! — Полина шумно вздохнула и быстро вытерла глаза платком.

— Не видела всех вас давно. Думала, увижусь ли!

— Что ж, Василий, сыграешь, может, «Полюшко» в ее честь? — сказал Капралов, усаживая Полину на лавку рядом с собой.

Гармонист с готовностью достал баян и, развернув мехи, заиграл. Все стали подпевать, ласково глядя на Полину.

— А у нас новость, Полюшко, — переставая играть, сказал Василий. — Наш старик «Ревет и стонет» теперь поет. Раньше не мог — слеза мешала, помнишь? А теперь поет! Вот что значит наступление! — Он заиграл снова.

— Это ты мне шею под Каменкой перевязывала? — наклоняясь к Полине, спросил Нагульный и, оттянув ворот гимнастерки, показал ей затвердевший шрам. — Раньше тебя поправился!

Он весело подмигнул девушке своими живыми глазами.

«Вот это счастье! — думала Полина, слушая песню. — Настоящее счастье!»

У нее было такое чувство, будто она после долгой разлуки вернулась в свою родную, тесную и дружную семью. Она и сама не подозревала раньше, что те тяжелые месяцы оборонительных боев, которые она провела в дивизионе до ранения, так глубоко свяжут ее с этими людьми и что эти месяцы будут казаться ей потом самыми важными, самыми содержательными в жизни.

— Ну, хватит! — внезапно поднялся майор. — Отдыхать! Утром опять, гляди, много работы будет!

— А нас, товарищ майор, теперь эта работа не утомляет, — вставая, забасил «старик». — Теперь от каждого боя легче на душе.

Все стали расходиться. Капранов вместе с Каюровым отправился проверять посты. Полина вышла на крыльцо и долго сидела одна, охваченная каким-то особым волнением, похожим на то, которое рождает зрелище вечернего неба в минуты, когда у человека зреет и мужает душа.

* * *

Полина спала в сених, постелив на лавке шинель. Проснулась она оттого, что лавка сильно и часто вздрагивала, как будто кто-то стучал по половицам

тяжелым камнем. В широкой щели между дощатой стеной и крышей она увидела красноватую полосу занимавшейся зари и услышала недалеко строгий голос Капралова:

— Не стрелять! — кричал он кому-то, должно быть, в телефон. — Ждать сигнала!

Полина быстро поднялась, натянула сапоги и выбежала на крыльцо.

— Не стой! Хоронись в окоп! — резко и сердито крикнул Нагульный.

Он стоял у небольшого орудия, наполовину врытого в землю и выставившего свой хобот меж сухими прутьями плетня.

Раздался короткий ухающий шум. Немедкий снаряд ударил в один из тополей, и дерево, шумя вершиной, рухнуло на дорогу.

Полина сбежала с крыльца и юркнула в первую попавшуюся землянку. В течение нескольких минут она слышала только гулкие удары снарядов, видела только согнувшегося телефониста, который кричал в телефон все время одно слово — «наждак». Каждого нового разрыва она ждала, думая, что это последний.

Но наступил и последний.

Оглушенная, она выбралась из землянки. Орудия не было на старом месте: отброшенное взрывом, оно валялось у изгороди. Но оно было цело.

Выползший из укрытия Нагульный, хромая,

прошел к изгороди и, морщась от боли, потрогал орудие правой рукой.

— Целы? — услышала Полина полный неудержимого азарта голос Капралова и увидела, как он, отряхиваясь от земляной пыли, вылез из окопчика и бросился к орудью. Сразу прибодрившийся и довольный участием командира расчета, Нагульный покати орудие на самый обрыв, под тополя.

Полина сначала не поняла, зачем они делают это, но, взглянув вниз, увидела двигавшиеся по всему далеко видимому полю черные глыбы немецких танков.

Далекий рокот, которому она раньше не придавала значения, теперь придвинулся. Тушые и тяжелые, но с некоторой даже грацией, если можно назвать так изворотливую подвижность их многопудовых туш, передние танки пронеслись через поле и, угрожающе рыча, ринулись наверх по дороге, идущей вдоль крутого ската и постепенно поднимающейся на обрыв.

«Так вот почему они так спешно подкатили сюда орудие», подумала Полина про артиллеристов. И тут она увидела, что передний танк поднялся почти на самый гребень обрыва. Его отделяло теперь от тополей не более 70—80 метров. Тогда выстрел внезапно распорол воздух, почти мгновенно повторившийся и как бы слвоившийся в разрыве. Снаряд ударил в левую гусеницу, машина вздрогнула и остановилась.

И только теперь, когда все это произошло, только теперь, а не раньше, раздался новый удар орудия. Башня второй машины сдвинулась набок, танк с хода встал на дыбы и замер от удара, но в следующее же мгновение опрокинулся в канаву и застыл.

Откуда-то из-за тополей, тянувшихся по обрыву, вспороли воздух новые залпы. Казалось, что все пространство вокруг начало лопаться и рушиться на землю, словно оно было не прозрачной, бестелесной массой, а состояло из огромных, рушащихся теперь скал.

Грохот длился непрерывно минут десять, затем стало возможным разобрать уже и отдельные выстрелы, но потом и они стали реже, и вдруг все совершенно стихло.

Наступило безмолвие. Было слышно, как свистят в тополях какие-то птички. Неужели и во время этого боя они так же пели, как теперь?

Девушка подошла к обрыву и увидела затуманенное дымом и пылью поле. До самого холма торчали на нем черные неподвижные глыбы машин. Теперь в них не было ничего грозного. Наоборот, одни походили издали на грязные комья гнилого сена, другие же горели, напоминая чем-то античные жертвенники.

Дым огромными змеями подымался от них и плыл над обрывом. Капранов вместе с артиллеристами стоял у пушки, близ которой валялись ды-

мившиеся снарядные гильзы, издавая едкий, но не неприятный запах пороховой гарн. Пряди густых волос падали ему на лоб, и это делало его похожим на кулачного бойца, вступающего в драку. Загорелое, обветренное лицо его было таким суровым, что теперь трудно было поверить, что этот самый человек только вчера цел песни, шутил и смеялся.

— Нагульный! — позвал он.

Артиллерист подбежал, готовый принять приказание.

— Нет, подожди, я их сам пощупаю! — сказал Капралов и побежал к подбитому танку, завалившемуся в кювет. Наводчик, не торопясь, пошел за ним.

В то же время из-под машины выскочили три немца с перекошенными от страха лицами и бросились было в кусты бересклета и орешника, росшие на скате.

Капралов крикнул что-то и сорвал с плеча автомат. Два немца остановились и подняли руки, а третий нагнулся и, внезапно выскочив из-за их спин, метнул длинный, как палка, предмет.

Полина видела, как он шлепнулся на дороге и завертелся у ног Капралова. «Граната», мелькнуло в голове. Девушка вскрикнула, шагнула вперед и, прижав к груди свою тяжелую плотную сумку, бросилась ничком на гранату, пытаясь прижать ее сумкой к земле.

Раздался взрыв.

Полина уже не видела в оседающем дыму бледного лица Капралова. Он стоял в прежней позе, невредимый, и с каким-то презрительным выражением губ отстегивал пустой диск.

На дороге, у подбитого танка, валялись, раскинув руки, все три немецких танкиста.

Но вот майор оглянулся и увидел Полину. Она лежала на спине, отброшенная взрывом к краю дороги. Командир склонился к ней, и ему показалось, что она пытается открыть глаза и слабо улыбается побелевшими губами. Он взял ее голову в свои большие ладони, приподнял ее и с надеждой и трепетом поцеловал открытый, чистый, лоб девушки.

— Товарищ командир, идут! — услышал он негромкий и чуть дрогнувший голос Нагульного. Капралов невольно поднялся и увидел внизу, во ржи, выбегающих из-за холма немцев.

— Связь цела? — отрывисто спросил он.

— Нет, все разбито!

— Все равно, давай световой — в атаку!

Нагульный подбежал к окну, и почти сейчас же оттуда взвилась и, бледно сверкая в лучах встающего солнца, рассыпалась под обрывом зеленая ракета.

И тогда из-за деревьев, из-за полуразрушенных построек, из ложины хлынули и понеслись с обрыва вниз пехотинцы. Послышался грохот колес и напряженные голоса артиллеристов, спускающих свои орудия под откос — на поле. Из земли, недавно

казавшейся растёрзанной, исковерканной железом и огнем и потому покорной, подымались новые и новые войны. Выбираясь из невидимых щелей, выпрыгивая из кустов, они устремлялись к ложине, к ржаному полю, что рыжей гривой вздымались на холме.

Звенящий, торжественный и грозный грохот орудий, треск пулеметов, стук колес и крики людей разносились по всему огромному, освещенному солнцем пространству, словно могучая симфония воспрянувшей в гневе земли.

Майор взглянул на Полину. Она лежала, закрыв глаза и подняв брови, словно удивляясь родившимся вокруг звукам. Вдруг она поднялась на локте, и лицо ее отразило тревогу.

— Ты что, Полюшко, девочка моя? — тихим, прерывающимся от волнения и внезапной ласки голосом спросил Капралов.

— Живы? — едва слышно проговорила девушка, и глаза ее озарились внезапным светом.

— Жив, — сказал майор и, не выдержав, снова обнял голову Полины и тихо поцеловал ее в губы.

— Жив! — повторил он с силой. — И ты жить будешь! — Он схватил свой автомат и ринулся с обрыва вниз, в шум нарастающего боя.

— Поднимите меня немного! — попросила Полина. Кто-то помог ей сесть и поддержал.

С обрыва ей видно было, как замелькали во ржи грязновато-серые спины чужих солдат.

И хотя из-за холма еще отвечали их орудия и пулеметы, но всякий, кто умеет слушать шум боя, сразу мог понять, что эта стрельба лучше, чем все другое, свидетельствует о растерянности и страхе врага. И люди, которые шли в атаку, готовые к смерти ради победы и жизни, поняли это! Они рванулись вперед и, перегоняя друг друга, уже подбежали к самому гребню поля.

А там гремела грозная симфония наступающей артиллерии — симфония бога войны и боевой славы русского оружия.

Еще нельзя было сказать, как далеко погонит врагов этот новый порыв бойцов, поднявшихся из растерзанной земли, с сердцами, раскаленными мстостью и пылающими надеждой, но Полине, сидевшей у дороги на крутом склоне обрыва, казалось, что весь трепещущий под солнцем мир радуется, верит и уже чувствует неопровержимую близость победы.

ТРИ СЕКУНДЫ

РАССКАЗЫВАЛ это майор инженерных войск, Илья Александрович Багрейчук.

— Противник обошел линию укреплений, вырвался к реке и стремился пересечь ее, чтобы ударить во фланг нашей армии. Колонна немецких танков быстро двигалась к большому железнодорожному мосту с высокой эстакадой и могучими виадуками, распростертыми над мутной водой.

Приказ об уничтожении моста был получен внезапно, ночью, и выполнять его надо было немедленно. Со мной находилось девять бойцов. Остальные оказались заняты оборудованием эскарпа километрах в шести от моста. Там же помещался склад оборудования. На вызов и движение к нам ушло бы не менее получаса, а уже через двадцать минут танки могли появиться.

В дежурном блиндаже нашлось достаточное количество тола, но не было взрывных машин и бикфордова шнура. Значит...

Саперам понятно было, что это значит.

В полном молчании мы подошли к мосту и остановились прислушиваясь. Тихо мерцали влажные звезды на небе, и слышно' было, как между каменными быками струится река.

Бывает так, что несколько тихих секунд перед боем оставляют в душе след, более глубокий, чем многие часы напряженного смертельного сражения. Так было и тут.

Откуда-то из мглы донесся к нам слабый звук лязгающего о камень железа. Танки!

— Кто вызовется остаться на мосту, подождать, когда приблизятся танки и поджечь тол? — спросил я. В таком деле всего лучше действовать не одним лишь приказом.

Секунды три все молчали.

Мысль человеческая быстра, и я уже успел подумать, что они не могут решиться. И вдруг звезда, скользнув по небу, осветила лица бойцов.

Один — из моряков был — старшина 2-й статьи Троев. Немолод уже. Глубокая складка прорезала его лоб. Усмешка, гордая и прямая, чуть искривила губы. Видно было: этот уже решил. Он ждет только — напряженно, сочувственно, как переживут эти трипетные мгновения его молодые товарищи по оружию. Зачем ему обижать их в эту минуту превосходством своей твердости...

А рядом с ним — юный Быстрейко Игнат. Дивным огнем горят его черные глаза. Он уже сделал чуть

заметное движение вперед и застыл так: лучше подождать еще мгновение. Его порыв могут принять за торопливость. Он знает — юность не всегда вызывает доверие.

Еще одно, одно лишь мгновение выдержки...

И третий — широкоплечий сибиряк Федор Плотников. Угрюмо сдвинул он тяжелые брови. Силы в нем — на столетия целые. Трудно ему обуздать жадно бурлящую в широких жилах кровь, слепо молящую о жизни. Но что она — жизнь, если нельзя будет открыто глядеть в глаза товарищам своим, и жене, и сыну?

Сжал он кулаки, напрягся весь. Вот сейчас грузно шагнет вперед, глубоко вдавливая оседающую под ним землю!..

Не видно было лиц других бойцов, но уже понял я, что и для них это не секунды колебаний! Это секунды последнего раздумья, когда человек всматривается в самого себя, собирает силы и волю, чтобы, не дрогнув, сказать свое „я“ и уже до последнего мгновения жизни забыть о себе.

Все, что воспитала в человеке жизнь, как бы открывается в эти мгновения его внутреннему взору, открывается озаренное его волей к жизни, воспоминанием о ласке матери, о чистом, омытом дождем небе над родным лесом, о первом прикосновении жены, о мягком вихорке волос на голове младенчески спящего сына.

И чем больше у человека любви к жизни, чем благороднее и сильнее она, тем ярче вспыхнет в его душе вызванная этим воспоминанием горячая, обжигающая душу искра непреклонной ненависти к врагу. В мгновение выжигает она, словно прут раскаленного железа, вставленный в дупло дерева, все налипающее к человеку, пока живет он на недоустроенной, несовершенной еще земле, и мешающее ему всегда быть одинаково чистым, благородным и мужественным во всем.

Сильным становится человек, обожженный изнутри огнем этой ненависти. Гордо смотрит в лицо опасности, презирая ее и смерть презирая. И тогда шагает он вперед, готовый на все, словно алмаз выплавился в эти секунды в его душе — так же крепко, благородно и чисто его чувство. Целые века страшного давления тяжелых геологических пород превращает кусок угля в алмаз. И если уж душа выдержит это давление, сосредоточенное на протяжении нескольких секунд, значит тверда эта душа в человеке и нигде он не будет знать страха...

Опять в ночной тишине, но уже ближе и явственнее раздался грохот и лязг приближающихся танков.

Все девять шагнули вперед.

Я обнял и поделовал каждого из них. Трое получили приказ умереть: Михаил Троев, Игнат Быстрейко, Федор Плотников.

Они погибли в обломках стальных виадуков, обрушенных в пучину реки вместе с немецкими танками, подпущенными на середину моста...

Встань, товарищ! Голову обнажи. Кто ты? Летчик, слесарь, швея? Пусть гнев высушит слезы. Помни о них, гордись ими. Родина наша их породила, родина и взяла.

ЛЮБИМОЕ ОРУЖИЕ

Я знал одной лишь думы власть,
Одну, — но пламенную страсть...

М. Лермонтов.

ЛЕЙТЕНАНТ Грушко — молодой офицер, в самой наружности которого есть что-то от его характера — нетерпеливого, искреннего и горячего. Большой, очень подвижный, стремительный без суеты, в черном кителе, плотно обтягивающем его сильную фигуру, он выглядит настоящим красавцем. Он отпускает бачки, фуражку носит с каким-то особым шиком, — слегка наискось надвинув ее на черные с длинным разрезом глаза, в которых всегда светится непотухающий огонек веселости и задора.

Медаль «За отвагу», два ордена Красного Знамени красноречиво свидетельствуют о боевом мужестве их владельца.

— Каков моряк! — провозжая взглядом его уверенную фигуру, невольно воскликнул мой спутник-литератор. — Прирожденный моряк! — добавил он с вос-

хищением.— Есть, знаете, такие люди, которым все дается как-то легко и свободно. Сразу чувствуется, что этот офицер из тех, что как бы рождены воинами и не знают всех этих мучений роста, внутренних борений и прочего такого... Утром я видел, как он выходил на катере на операцию. Стоит взглянуть ему в глаза, чтобы понять, какой это человек. Ни следа смущения перед опасностью, в глазах веселая ярость — и только! Я убежден, что такому все дается легко; должно быть, самой судьбе приятно дарить его удачей..

— Это о ком вы говорите, о лейтенанте Грушко? — спросил полковник Хлынов, стоявший рядом с нами у пирса и сначала рассеянно, а затем все более внимательно прислушивавшийся к тому, что говорил литератор.

— Да, кажется, Грушко его фамилия. Я ведь еще не знаю всех ваших, — ответил тот.

— То-то, что не знаете, — недовольно пробурчал полковник. — Между тем люди, падобно вам знать, не родятся готовыми, а такие моряки, как Грушко, и подавно. Сейчас он в почете, опыт имеет, дерется хорошо, от товарищей — уважение, и нам с вами смотреть на него приятно. А не догляди мы за ним, и, может быть, погиб бы парень, пропал ни за что. Нет, — добавил полковник убежденно, — характер, военный характер надо уметь выращивать, направлять, пока человек молод и неопытен, а потом закалять его, выдерживать, проверять в бою и в быту...

Мы разговорились, и вечером у себя в каюте полковник посвятил нас в некоторые подробности из боевой биографии лейтенанта Грушко.

— Конечно, — сказал он, — не одни мы воспитываем командира, — вся жизнь воспитывает... Я расскажу вам одну историю об этом лейтенанте. Но только вы не распространяйтесь о ней пока здесь — среди наших...

Рассказ полковника я записал.

* * *

До войны лейтенант был мичманом. Он любил море и остался на сверхсрочную службу. Родина его где-то под Полтавой, но, поистине, родным городом стал для него Кронштадт. Там же, в парусных мастерских, работала его девушка, с которой он встречался в свободные вечера в Петровском парке. Надо сказать, что не только она одна дарила моряка своим вниманием. Девушки обычно замедляли шаг при встрече с ним и оборачивались. Он охотно обменивался с ними шутками, но был строг к себе и, видимо, совершенно лишен интереса к волокитству. Его Антонина ценила это...

Перед войной Грушко был на курсах повышения квалификации командных кадров. Война застала его в те дни, когда он готовился получить звание и стать командиром катера. Но планы его были нарушены. Первое сражение ему, как и многим его товарищам, пришлось принять на суше. Это были

дни, когда немцы захватили Кингисепп и, вырвавшись к берегу Балтики, предвкушали падение Кронштадта...

Курсы в полном составе были преобразованы в особую часть морской пехоты. Грушко получил пилотку, защитные брюки, серую шинель и вместе с другими высадился в местечке М., где уже рвались немецкие снаряды. Он участвовал в знаменитых боях под Гостилицами, в боях, оказавших на немцев действие холодного душа после сильного переоя. Немцы вынуждены были остановиться в болотах, в которых они застряли так основательно, что не решились сделать ни шагу дальше...

Грушко не раз ходил в яростные атаки, дрался с азартом и самозабвением. Тем не менее он даже в эти напряженные дни оставался при убеждении, что штыковой бой не выдерживает сравнения с морской торпедной атакой. В одном из сражений Грушко отличился. Он вынес с поля боя под сильным огнем раненого командира полка и был представлен к награде. Вскоре бои прекратились. Обе стороны заняли прочную оборону, началась зима—памятная зима первого года войны. Нетерпеливый характер молодого моряка не выносил длительной передышки. Между тем началась трудная окопная жизнь.

Моряки очень дорожат своими привычками, и тот, кто бывал в их глиняных, поражающих чисто-

той землянках, наверное обращал внимание на почти корабельный по ядок их быта, по которому морскую пехотную часть всегда легко отличить от природной пифантерии.

И все же многие моряки испытывают сильную тоску по привычной обстановке. Они бережно хранят на дне своих сундучков и вещевых мешков полосатые тельняшки, называют кухню — камбузом, столовую — кают-компанией и каждую лесенку — трапом. При случае они выбираютя поближе к берегу и долго всматриваются сквозь ветви сосен в знакомую мглу залива...

Грушко испытывал сильную тоску при мысли, что он на все время войны останется в пехоте. Эта тоска овладевала им все больше и наконец так захватила его, что он с большим трудом стал выносить окопную жизнь. Он потерял прежнюю веселость, стал сереть, чахнуть... Однажды глубокой осенью ему совершенно случайно пришлось выйти на небольшом катере к северному берегу, где села на мель баржа с пехотой. После аврала он вернулся к себе в землянку мокрым, продрогшим на ночном ветру, грязным, но совершенно счастливым, как после свидания с любимой девушкой. После этого случая моряк стал особенно угрюм и задумчив. Всегда любивший находиться в кругу товарищей, он почти все свободное время проводил теперь в одиночестве.

К весне Грушко совершенно, что называется,

развинулся. Командир роты недоумевал. Ему казалось странным, что этот здоровяк может заболеть от тоски по морю, по своему привычному и любимому делу, точно так, как заболевают от неудачной любви хрупкие девушки из романов. Как многие другие люди, командир роты полагал, что лучшим лекарством в подобном случае будет жесткая дисциплина и строгость. Он решил, как говорят, «подтянуть вожжи» и стал с особой взыскательной требовательностью относиться к каждому, даже самому маленькому поручению, которое давалось Грушко, полагая, что это отвлечет того от ненужных мыслей. В другом случае это, возможно, и возымело бы желаемый результат, но тут получилось наоборот. Нетерпеливый и горячий по характеру, Грушко не выдержал. Однажды он вступил в пререкания с лейтенантом, нашедшим какие-то неполадки в его одежде, и получил первое взыскание, а вскоре затем — второе.

Как раз в это время пришел приказ об отборе группы моряков-катерников для отправки на Ладугу. Грушко воспрянул духом. Надежда окрылила его, он словно переродился. Одним из первых он подал рапорт и... получил отказ, мотивированный его недостаточной дисциплинированностью, как младшего командира. Узнав об этом, моряк впал в отчаяние. Дело было под воскресенье. Приехали артисты, и все бойцы, кроме занятых в карауле, пошли на концерт, устроенный в большой клубной зем-

лянке. Грушко же в связи с полученным взысканием должен был отправиться на полуторатонке за грузами в приморскую базу. Поездка должна была занять всю ночь. Когда машина, выбравшись на берег, перебиралась через старый мост, случилась авария. Машину завалило в кювет. Шофер, отчаявшись что-либо сделать, ушел за помощью в ремонтные мастерские, оказавшиеся поблизости, но, вскоре вернувшись, сказал Грушко, что помощи придется ждать до утра. Грушко принялся бродить вдоль берега. Он чувствовал тяжесть в груди и глухую обиду. Солнце зашло, но голубое апрельское небо еще сверкало и ликовало, бросая прозрачные отблески на пропитанный весенней влагой лед, в котором уже чернели большие полыньи. Грушко прислонился к валуну и долго стоял, не двигаясь, раздумывая о своей судьбе. Стемнело. Прозрачная, почти бесцветная даль посинела, и над заливом, над береговыми соснами и далекими приземистыми линиями кронштадтского берега выгнулось покрытое звездами холодное и неотразимое небо. Грушко куда было идти до утра. Правда, он мог бы вернуться обратно в часть, от которой отъехали не более восьми километров, но что-то мешало ему двинуться с места. Может быть, его мучил стыд перед товарищами, в чьих глазах он чувствовал себя опозоренным, раз его считают даже недостойным родного оружия... Он не ощущал холода, хотя и стоял не двигаясь, в расстегнутой шинели. И вдруг ему

пришла в голову мысль пробраться в Кронштадт и оттуда на Ладогу — на катера!

Сначала он сам испугался этой мысли, но вскоре убедился, что осуществлению ее не в состоянии помешать никакие доводы благоразумия. Он спустился к самой воде и попробовал ногой лед. Лед был хрупким, ненадежным. Но это не остановило Грушко. «Тем более, — подумал он, — никому не придет в голову, что я ушел туда...» Кругом были полыньи. Грушко не раз проваливался по пояс в ледяную воду, но ему удавалось выкарабкаться, и он продолжал идти вперед...

В мокрой, леденеющей одежде он выбрался на кронштадтский берег. На заставе ему повезло: он попросился на какой-то запоздалый грузовик с бойцами, среди которых нашлось несколько знакомых моряков из пульбата, и вместе с ними въехал в Кронштадт.

Было, должно быть, около двенадцати часов ночи, когда он ввалился в маленькую комнатку своей Антоины. Она не узнала его, а потом вскрикнула и бросилась ему на шею, прижалась к нему, радостная, счастливая и удивленная. Но скоро она заметила, что с ним что-то неладное. Он даже не захотел снимать мокрую одежду, а так и сел за стол, односложно отвечая на ее вопросы и напряженно думая о чем-то своем.

— Ну, что же ты? — воскликнула она. — Расскажи наконец толком!

Она подвинула ему чашку горячего чая, и он молча держал ее в больших покрасневших руках, с удивлением разглядывая обои на стенах, кровать с никелированными шарами, столик с флаконами духов, как будто не понимая, что все это еще может существовать на свете, и словно не веря тому, что он здесь, у Антонины.

Он так и не произнес до сих пор ни слова. Тогда она подвинулась к нему совсем близко, и вдруг заплакала, уронив голову на мокрый и жесткий рукав его шинели.

— Я так ждала, так ждала тебя, — проговорила она и стала рассказывать ему о зиме, о застывшем дехе, о голодных жестоких вечерах. О том, как трудно шить ослабевшими пальцами негнувшийся холодный брезент, страдать от голода и думать, думать о нем, стиснув зубы и прислушиваясь к вою и к грохоту снарядов, перелетающих через залив...

— Хоть бы ты чаще писал! Последнее время я стала уж думать — жив ли ты. Что с тобой было?..

Только теперь он заметил, что лицо ее обострилось, побледнело и что она сама стала словно меньше и тоньше в плечах, и руки ее, обтянутые черной материей платья, узки и слабы, как у ребенка. Он притянул ее к себе и молча поцеловал, задышавшись от внезапно нахлынувшей нежности и жалости к ней. А она сразу просветлела, улыбнулась и со счастливым выражением маленькой девочки гордо сказала:

— Ты не думай, — всю зиму мы шли бушлаты, робы, чехлы для орудий... Это только сейчас я такая нюня, — оттого что стосковалась по тебе!..—Она посмотрела на его угрюмое, взволнованное лицо и как бы спохватилась: — Но вам, я знаю, еще труднее, гораздо труднее. Там несравненно труднее! А ведь вы держитесь!.. Я так горжусь всеми, всеми вами и тобой, особенно тобой!

Добрая, гордая улыбка осветила ее лицо, и он вдруг быстро встал и тихо, смущенно сказал ей:

— Я пойду, Тоня, мне надо, мне пора!..

Она на минуту растерялась от огорчения, что так быстро и нескладно прошли дорогие минуты встречи, но молча поднялась, накинула пальто и платок. Она хорошо знала, что в таких случаях просьбы не помогут: дисциплина!

— Я провожу тебя, — сказала она просто. И он удивился той твердой покорности, с которой она отстранила от себя выстраданное долгим, тяжелым ожиданием и уже коснувшееся ее счастье встречи..

Он схватил ее руку, и они вышли под звездное, холодное небо, по которому бесшумно скользили широкие серебряные мечи прожекторов.

Грушко торопливо говорил что-то насчет каких-то аккумуляторов, за которыми они будто бы приехали на машине, потом порывисто обнял Тоню, поцеловал и исчез за чугунной решеткой ограды, у которой она осталась стоять.

Он хотел оглянуться и не посмел, боясь, что она все поймет, догадается и уже никогда не простит ему.

Бесшумно, дрожа от холода, боясь наткнуться на патрулей, он добрался до залива и вновь вышел на лед. Впереди чернели полыньи, грозно и недружелюбно блестела вода.

Вечером Грушко явился к полковнику и откровенно рассказал обо всем, что произошло в эту ночь.

— Этот полковник были вы?—спросил я Хлынова,

— Это неважно, — сказал он.

— Но это был тот самый полковник, которому Грушко когда-то спас жизнь на поле боя? — настаивал я.

— Почему вы так думаете? — спросил он.

— Потому, что тут надо было пренебречь некоторыми формальностями и проявить доверие, вопреки компрометирующим Грушко фактам.

— Это, пожалуй, правильно. Но доверие порождается откровенностью. А Грушко был откровенен. Он ведь мог бы и молчать о том, чему не было свидетелей. Важно было понять, что человека в данном случае коверкает, если хотите, не слабость его, а сила!

— Как так? — не понял я.

— А так! Видали вы плодоносные деревья, — ну, яблони например, которые дают столько плодов, что от их тяжести легко ломаются сучья, и если их не подпереть, то гибнет дерево. Ну так вот. Человек, конечно, не яблоня, его энергию направлять слож-

нее. Но надо было понять: воля у человека не окрепла еще, выдержки нет, а душа зовет на родное свое, привычное, и силы столько, что самое трудное — справиться с ней! Такую энергию важно верно направить. Говорят, кабардинец в тридцать раз смелее на коне, чем пеший. Не знаю, каким окажется опытный летчик в штыковом бою... Важно каждому найти свое правильное место. От этого все мы становимся сильнее. Вот этот Грушко на своем катере один против семи вражеских судов ходил и, как видите, жив, счастлив и весел..

— Однако ведь факт, что множество моряков на суше дерутся не хуже, чем на море, и привыкают и к земным условиям, и к пехотному оружию...

— Да, — спокойно согласился полковник и встал, как бы подчеркивая, что разговор окончен. — Да, привыкают. Но, видите, бывают исключения... Тот, кто не умеет понять исключений, не может верно судить о правилах...

ВЕГА

ВЕГА — это очень яркая звезда в созвездии Лиры. Вечерами на юге вы легко можете отыскать ее среди других звезд. Она находится почти над головой, и вы всегда узнаете ее по звездному параллелограмму Лиры, хорошо заметному на изгибе Млечного пути. К тому же она крупнее остальных звезд и, как говорят астрономы, уступает в яркости только Сириусу.

Впрочем, лейтенант Лынов, командир взвода минометчиков из отряда морской пехоты, думал сейчас о другой — земной Веге. Его бойцы только что миновали петлистый изгиб шоссе и вышли прямо к большому скалистому склону, нависшему над водой. Где-то тут надо было сворачивать в горы: отряд шел на усиление фланга бригады, готовящей крупную операцию.

Молодой командир пристально взгляделся вперед и невольно замедлил шаги, словно припоминая что-то.

— Два года... — пробормотал он еле слышно. — Два года...

За несколько недель до начала войны он, только что отбыв последнюю практику на корвете и получив назначение, проводил свой отпуск в маленьком санатории, светлые стены которого видны были теперь с дороги. Вот тогда-то и познакомился он со своей Вегой. Они часто гуляли здесь. Их любимым местом был крутой склон скалистого берега, тот самый, на который вышел теперь Лынов со своим отрядом. Молодой лейтенант сразу узнал это место и с волнением оглядывался вокруг. Да, разумеется, тогда тут не было наших батарей, но так же стояла сосна и внизу так же шумело море. Лейтенант остановился. Ему вдруг стало трудно дышать, хотя вокруг был огромный простор и с моря прямо в лицо дул свежий предзакатный бриз.

Все тут было выжжено солнцем и продудо ветром. Из сухой горячей земли торчали жесткие ключья выгоревшей травы и кое-где, у подножия кустов шиповника, рос мох, похожий на бархат. Из-за скалы вынырнул альбатрос и, поджав ноги, стал медленно кружиться, высматривая добычу. Внизу лениво плескались волны, оставляя на гальке ключья желтоватой пены... Да, все было здесь таким же, как два года назад. Или, быть может, два года назад все было так же, как теперь в его сердце? «В самом деле, — подумал Лынов, — почему ни ветер, ни солнце, ни всё пережитое не выжгли, не выветрили во мне воспоминания об этой девушке с именем звезды?..»

Знакомые места оживили чувства, никогда не покидавшие лейтенанта. В смертельном напряжении борьбы, в грохоте боев, среди опасностей он, как и многие из нас, хранил где-то в глубине сердца светлую надежду, радостные воспоминания и неугасающую любовь. В ту, еще мирную и безмятежную весну он даже не понял сразу, что у него на сердце. Ему нравилось, как говорит, плавает, смеется, дышит эта юная девушка. Глядя в ее глаза, ясные, с черным огнем под прямыми ресницами, он очень хотел, чтобы ей всегда было легко и хорошо на свете. Потом она уехала к своим родителям в Киев. Он проводил ее на вокзал, шутя поцеловал в прохладную свежую щеку и, когда пропали из виду удаляющиеся красные огоньки и затих шум колес, пошел один к морю. И — странное дело! — чужим казался ему привычный берег, море — пустынным и небо — холодным и равнодушным. Он поднялся на знакомый обрыв, сел у корней старой сосны и вдруг понял, что без этой девушки ему не жить на земле. Он пошел на станцию узнать, когда будет следующий поезд в Киев.

— Завтра, в это же время, — сказали ему.

Он вернулся в санаторий, собрал вещи и заказал билет...

А на следующий день утром началась война. Вечером Лынов уехал в Одессу, в свою часть. «Любовь и долг», с мрачной пронией думал он, глядя на рассыпающиеся за кормой парохода отражения звезд, на которые он так недавно любовался с Вегой. Он

едва нашел в себе силы улыбнуться. С парохода он послал несколько телеграмм и писем в Киев. Это были признания; признания, опоздавшие на целую эпоху. В них были слова и чувство, рожденные мирной жизнью, а вокруг уже грохотала война. В Одессе он пробыл всего четыре часа и уехал на пограничную базу. Потом начались бои, и Лынов долго не имел определенного адреса. Осенью Киев пал.

«Где она? Где эта лучшая в мире девушка, которой он так хотел добра? Знает ли она, что лейтенант Лынов постоянно помнит о ней?..»

Отряд свернул на горную тропу и стал подниматься по склону к огненным позициям наших минометных батарей. И каждый камень на этой тропе напоминал Лынову о Веге. Здесь он ходил с ней на прогулку в ущелье. Вот на этом уступе они остановились, и Вега поднялась на носки, чтобы посмотреть, не всходит ли луна.

Лынов не удержался, чтобы не подняться на уступ под предлогом просмотра ночных ориентиров для стрельбы. Он даже поднялся на носки: не всходит ли луна? Но луны не было, и лейтенант пожалел об этом, хотя луна только помешала бы спокойно добраться до позиций.

Луна появилась, когда отряд уже спустился в долину. Она светила настолько ярко, что бойцы, наткнувшись на заросли дикой вишни, могли собирать и есть спелые черные ягоды.

Отсюда начинался вход в ущелье. Лынов хорошо помнил это. Склоны ущелья были тоже покрыты зарослями орешника, вишни, кизила. Но теперь, глядя на ягодные заросли, он вспомнил не ущелье, — ему припомнился рот девушки, веселый, яркий, чуть влажный рот, и губы, немного испачканные соком вишни...

Ей нравилось это ущелье и буковые леса на склонах. Она радовалась, что он показал ей все это. Напрасно, по ее мнению, большинство приезжающих в эти места проводит свой отпуск только у моря, не заглядывая в горы...

— Товарищ командир! Тут где-то должен быть домик, — сказал главстаршина Алексеев. — Зайти бы узнать, какой будет «бычок» на эту неделю.

Домик? Разумеется, он хорошо знал этот домик. Как он не вспомнил о нем сам? Но теперь, значит, там наша минометная база.

Они тоже заходили с Вегой в этот домик. Во дворе бежал совсем маленький косолапый щенок Ахман. Он взвизгивал от бурного восторга и несколько раз пытался лизнуть Вегу в лицо, когда она наклонялась, чтобы погладить его. Теперь, едва Лынов с главстаршиной подошел к домику, навстречу им бросилась, гремя цепью, большая белая собака.. Часовой щелкнул затвором винтовки. Лынов назвал пароль и предъявил документы. Они были уже на дворе, а собака все не унималась. Лейтенант сразу узнал в ней маленького Ахмана. И странно — ему было

как-то горько, что собака продолжала рычать на него. Она ведь была единственным свидетелем его робкой близости к девушке, которую маленький щенок так бесцеремонно хотел лизнуть в лицо, тогда как Лынов даже боялся долго смотреть на нее, чтобы не выдать своего чувства...

Главстаршина ушел наводить справки, а лейтенант лег на сырую от росы траву. Стараясь снискать расположение Ахмана, Лынов дал ему кусок колбасы и хлеба, сохранившиеся в рюкзаке. Но когда Лынов попытался погладить пса, тот снова зарычал, и шерсть поднялась у него на спине и вокруг шеи.

«Ну что ж, — подумал лейтенант, — очевидно, тот день, в который мы впервые познакомились, не запомнился ему так, как мне!..»

Главстаршина окликнул Лынова, и вскоре отряд ушел на позиции. Весь следующий день они находились под сильным огнем немецких артиллерийских батарей. Лежа под разрывами в траншее, Лынов смотрел на небо, видел знакомое созвездие, клонящееся к зубчатой гриве гор, и с грустью думал о том, что та — живая, любимая им Вега еще, должно быть, дальше и недоступнее, чем эта звезда...

Оказалось, однако, что его Вега была гораздо ближе, чем можно было ожидать, и судьба уже готовила им встречу...

На фланге начались бои. Лынов, всегда храбрый в сражениях, на этот раз дрался особенно бесстрашно. Он сам разведывал и выбирал позиции под носом

у врага, устраивал засады и, пряча свой взвод в скалах, то и дело накрывал противника неожиданным и жестоким огнем. Мысль, что он защищает места, где он встретился с любимой им девушкой, придавала ему силы. На четвертый день боев, отбивая жестокую контратаку немцев, Лынов был тяжело ранен осколком снаряда. Через несколько часов после ранения он очнулся в стороне от боя в пловучем госпитале, куда, как оказалось, был доставлен на санитарном самолете.

— Этот? — услышал он над собой до странности знакомый голос.

— Да, просвечивайте — и сразу в хирургическую, — ответил другой.

Его внесли в темную комнату и положили на ровную, как стол, движущуюся плоскость. Все тело его ныло от боли.

— Включайте, — сказал тот же знакомый голос.

Застрекотал аппарат, и чьи-то осторожные руки коснулись его плеча и окровавленной спины.

— Повернуться можете? Попробуйте. Молодец! Очень больно? Еще немного, еще. Сейчас сделаем снимок.

Аппарат перестал стрекотать, и Лынов вдруг понял, чей голос он слышит.

— Послушайте, — сказал он, стараясь подняться на локте. — Зажгите свет.

— Что такое? Будьте молодцом еще одну минуту. — И он вновь услышал шум аппарата.

— Ну вот и все!

Щелкнул выключатель, и в слепящем свете Лынов увидел Вегу. Она была почти такая же, как тогда, разве только немного старше и строже.

— Вега! — проговорил он. — Вы ли это? — Он цеплялся руками за гладкую поверхность, пытаясь приподняться. Она бросилась к нему.

— Не шевелитесь! Вам нельзя...

— Вы не узнаете меня?

Она посмотрела на него долгим взглядом, и он увидел наконец огонек, вспыхнувший в ее черных глазах.

— Дмитрий! — произнесла она тихо. Лицо ее осветилось радостью, но выражение озабоченности и деловитости не исчезло с него.

— Если бы вы знали... — сказал Лынов тихо. — Все это время, всегда, везде...

Она не дала ему говорить.

— Потом, — сказала она ласково. — Все это потом. Ладно? — Она наклонилась так близко к его лицу, что он уловил запах ее волос, и шепнула: — Вы будете молодцом, правда?..

Он не успел ответить. Плоскость, на которой он лежал, двинулась, он очутился в белой чистой комнате, очень ярко освещенной.

— Готово? — глухо спросил стоявший у стола человек в белом халате и с марлевой маской на лице. Лынов ощутил сладковатый дурманящий запах и почувствовал страстное желание закрыть глаза...

Он проснулся в санитарной каюте, где, кроме него, лежало еще несколько раненых. В иллюминаторы пробивался дневной свет. Лынов ощутил легкое покачивание судна и с удовольствием прислушался к шелесту волн, плескавшихся о борта. Он любил море, и так как почти всю войну провел на суше, в морской пехоте, то теперь у него было такое чувство, будто он вернулся в родные места. Напряжение, в котором он находился в дни боев, прошло. Лынов испытывал только странную слабость, мешавшую ему сделать малейшее движение. Он вспомнил о Веге. «Может быть, это было во сне?» подумал он. И все же он ждал ее, веря, что она придет.

И она пришла. По привычке он сделал усилие, чтобы приподняться, но она замахала рукой и усеелась у его изголовья. Он хотел говорить с ней долго-долго, все рассказать ей, обо всем расспросить.

— Нет, Дмитрий, это потом, — сказала она. — Видите, я жива, здорова. За войну я закончила институт и стала врачом-рентгенологом. Ну, а подробности потом... Ладно? Вам нельзя говорить и совсем нельзя волноваться.

— Знаете, — сказал он, — я недавно был в том самом домике, около ущелья, где мы ходили тогда..

Она задумалась на минуту, словно припоминая.

— Помните? — спросил он.

— Да.

— А крутой обрыв и сосну у моря помните? Я был там тоже.

— Я пойду, — сказала она еле слышно и встала.

— Куда же вы?

— Мне пора... Вы будете молодцом. Ладно?

Он хотел, чтобы она осталась еще, но она ушла.

Все дни, пока он был слаб, она вела себя сдержанно-ласково по отношению к нему, стесняясь окружающих. Или она не понимала его чувства?

Однажды, когда она сидела рядом с ним, он спросил:

— Послушайте, Вега, вы получали тогда, в первые дни, мои письма и телеграммы?

— Нет, — ответила она тихо и потупилась.

— А в этот ваш аппарат, которым вы осколки во мне отыскивали, в него вам все видно?

— Все, — улыбнулась она.

— Насквозь?

— Ну, конечно.

— Значит, не все, — сказал он.

— Почему же?

— Сердце мое вы там видели?

Она печально улыбнулась и встала.

— Подождите, вы не должны уходить.

— Мне надо. Вы такой милый, Дмитрий... Будьте же молодцом. Ладно?

«Нет, она не любит меня», решил Лынов. Ему стало грустно. Он попросил книгу. Ему принесли Байрона. Там были стихи:

Мой пес, быть может, два-три дня
Повоет, да и тот,
Другим накормленный, меня
Прогонит от ворот...

Ему казалось, что это про ту самую собаку из домика. Теперь он не говорил с Вегай о своем чувстве. Чтобы скрыть свою грусть, он старался говорить с ней в шутливом тоне.

— Вега, — просил он, — положите мне холодную руку на пылающий лоб, просто так, в порядке медицинского обслуживания...

Она клала ему руку на голову, гладила по волосам и говорила:

— Оставьте вы этот тон... Право... Вам бы надо успокоиться...

Только раз он не удержался. Они спдели вместе на койке и смотрели в иллюминатор на знакомое созвездие Лиры. Он сказал:

— Вот она, ваша небесная тетка. Правду, по-вашему, говорят, что свет у звезд северный?

Она вздрогнула и чуть отстранилась от него.

— Разве я вам обещала тогда что-нибудь? — спросила она взволнованно. — Разве вам не нравится наша дружба?

— Я пошутил, — пробормотал Лынов.

Он был уверен теперь, что ему незачем набиваться к ней со своим чувством. Он пытался не думать о ней или думать плохое. Но она приходила к нему каждый день и одним взглядом своих блестя-

щих черных глаз превращала в прах все крепости, которые ему удавалось воздвигнуть против нее в ее отсутствие.

Он волновался, нервничал, по молодой организм брал свое. Раны стали затягиваться, он поправлялся. Вега приходила к нему веселая, приносила цветы, шутила, смеялась, но скоро уходила, ссылаясь на занятость. Однажды она не пришла к нему в обычное время. Он подумал, что с ней что-то случилось, и решил разузнать.

— Слушайте, — обратился он к старушке-уборщице. — Вы знаете ту девушку, что приходит ко мне?

— Стрепетову-то? А как же, тут все ее знают...

— Подождите. Какая Стрепетова? — удивился Лынов. — Ее фамилия Глинская.

— Веры Андреевны-то? Может, когда и была Глинская, а уж год скоро, как Стрепетова. Они дружная пара, и любят, видно, друг друга очень, и работают вместе. Это ведь он вас выправил, а то, говорят, не жить бы вам...

Через месяц Лынов выписался из госпиталя. Прощаясь с Вегой, которая пришла проводить его, он спокойно и весело пожимал ей руку и говорил:

— Помните, я болтал вам насчет звезд и этого вашего аппарата... Вы это забудьте, право!

Она крепко обняла его и поцеловала.

Лынов вернулся в свою часть, позиции которого передвинулись далеко на запад. Взвод расположился

теперь недалеко от моря, и по ночам, когда стихал бой, лейтенант слышал вечный шум волн. И тогда, если небо не было закрыто тучами, он поднимал глаза и среди колеблющихся в синеве звезд отыскивал любимое созвездие Лиры, медленно клонящееся к могучим хребтам Кавказских гор.

Разве то, что случилось, меняет что-нибудь в его отношении ко всему этому миру, к жизни, к тому, ради чего он выигрывал столько сражений и вот теперь выиграл едва ли не самое трудное из них — сражение с самим собой?..

У Л Ь Я Н А

В КОНЦЕ ноября я пробирался в часть морской пехоты, занимавшую тогда оборону близ маленькой железнодорожной станции В., южнее Ладожского озера. Установившиеся было холода сменились в эти дни оттепелью. Машина то и дело буксовала на скользких, разбитых бомбами дорогах. К тому же «сын степей» — шофер, прозванный так за широко-скулое лицо и узкий разрез глаз,—был против этой поездки по каким-то своим «бензинно-покрышечным» соображениям. А известно, что если шофер не в духе, то и бензин не горит. Сначала засорился карбюратор, потом, переезжая маленький мостик, машина наша провалилась одним колесом между жердями старого настила. Потом мы сбились с пути. Словом, ранние ноябрьские сумерки застали нас в чистом поле, на какой-то непроезжей дороге, заносимой начавшейся пургой. Нам долго не попадалось ни деревни, ни встречных грузовиков. Стало быстро темнеть, метель усилилась, и шофер заявил, что бензин кончается и что лучше вернуться. Но куда?

Я решил ехать дальше, неходя, признаться, из одного только убеждения, что в жизни всегда важнее идти вперед, чем озираться назад.

Наконец мы добрались до одиноко стоящего барака. Шофер, увидев дым над дырявой крышей, завернул машину во двор, и через несколько минут мы входили в единственную уцелевшую комнату, подпертую под потолок двумя деревянными столбами. Еще во дворе я заметил нанесенные мелом на стене дома цифры и немецкую надпись «Belegt», обычную в деревнях, где немцы размещали на постой свои части. Но и без этой надписи можно было с первого взгляда определить, что здесь они уже побывали.

Тот, кто не видел, как обитают жители разрушенных и разграбленных оккупантами деревень и сел, не имеет понятия о жестокой нищете, о крайней убогости жизни людей, оставшихся на пепелищах.

Комната, в которую мы вошли, была освещена только светом топившейся печки. На подвешенных к потолку сухих жердях сушилось белье; в комнате пахло кислым, и было душно. На деревянной кровати сидели, как птенцы в гнезде, четверо полуодетых ребятишек. Молодая девушка стирала белье в корыте, а рядом с ней, должно быть, мать чистила картошку. У самой двери худенькая девочка лет тринадцати слабой рукой вращала рычаг каменного жернова, размалывая какие-то зерна. Девушка отложила

белье, вытерла руки о подол и удивленно посмотрела на нас черными глазами, очень ясно выделяющимися в полутьме на белом лице.

— Тут что, хутор какой или село? — спросил я поздоровавшись.

— Было село, да хвостом смело, — ответила она не очень дружелюбно. — А вы что, ночевать или погреться?

Это еще нужно было решить. Из разговоров выяснилось, что дом, в котором мы очутились, был единственным уцелевшим из почти двух сотен домов большого селения Р., сожженного немцами. Когда я нашел его на карте, то увидел, что мы отклонились километров на двадцать пять в сторону. Единственная дорога на озеро проходила далеко отсюда, за лесом. Рассчитывать здесь на встречу с какой-либо машиной, которая могла бы помочь нам бензином или взять на буксир, было бессмысленно.

Нет ничего труднее, как отправить шофера в дальнюю дорогу пешком. Но это пришлось сделать. Я написал записку командиру части, просил помочь нам, и «сын степей» после долгих сборов и отговорок наконец отправился.

— Это чьи же дети? — спросил я девушку.

— Сестрины... Она за сеном поехала, да, видно, мину зацепила. Стог весь раскидало, а от нее почти что ничего не нашли.

Девушка стала укладывать детей в ряд под широкое лоскутное одеяло. Одному из них, маленькому

белоголовому мальчугану, должно быть, нездоровилось. У него было разгоряченное лицо, и он тихо хныкал. Девушка взяла его на руки и долго носила по комнате. Потом присела на кровать и стала тихо напевать ему песенку, слова которой были знакомы мне с детства:

...В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла.
Улетел орел домой,
Солнце скрылось за горой...

В мягком ее голосе было столько непередаваемой нежности и ласки, что казалось, все существо девушки увлечено этой песней в какой-то другой, чуждающейся ей мир. Было непостижимо, почти невероятно, что столько живого, человеческого чувства могло сохраниться среди этой беспощадной убогости и нищеты.

Наконец песня смолкла. Ребенок уснул, погасла печь, и в большой комнате все постепенно погрузилось в тяжелый, беспокойный сон, прерываемый то вздохами женщин, то внезапными выкриками голодных детей.

Я задремал на лавке у окна. В полусне я услышал, как дверь отворилась, и кто-то, войдя, молча остановился у двери.

— Кто там? — спросила из темноты девушка.

— Ты, Уля? Выдь на слово одно, — слышался встревоженный женский голос.

Некоторое время у порога шептались, потом дверь снова захлопнулась.

— Чего там, Ульяна? — позвала лежавшая на полу мать.

— Варвара Набокова прибежала, говорит, немцы болотами идут. Мужики будто Порфирия поймали, он сказывал.

Мать приподнялась над ложем.

— Чтой-то боя не слышно, — заметила она. — Будить командира-то или спит пусть?

— Неужели не будить? Они, чай, втихую идут. Вставайте, в землянки надо уходить! — позвала девушка, тронув меня за плечо и вместе с матерью принялась подымать детей.

Недоумевающие и заспанные, они торопливо одевались, прислушиваясь к вою ветра за окном, заткнутым куделью. В избе было почти совсем темно, и только печной огонь бросал желтоватые отблески на встревоженные лица и рваные одежды людей. Белоголовый мальчуган, должно быть, не на шутку разболелся. Слабыми ручонками он пытался откинуть тулуп, в который его заворачивала Ульяна, и, задыхаясь, плакал так жалобно и беспомощно, что на лице девушки скатилась слеза. Я заметил, что ей стоило большого труда, чтобы не расплакаться.

Наконец все было готово. Один за другим мы вышли во двор и, минуя пустырь, прямо по снегу вошли в кустарник, из которого начинался спуск в

балку. Здесь, в крутом скате, было выдолблено отверстие, напоминавшее пещеру. Я осветил ее фонарем: на земляном полу валялась помятая соломка. Женщины начали укладывать детей, но сразу же стало ясно, что больного мальчика оставить в землянке нельзя.

— Пойду обратно, — решительно заявила Ульяна, — не убьют, чай, с ребенком-то.

— Лучше пусть меня, — запротестовала мать, — ты холодая, приставать начнут!

Но Ульяна не хотела слушать. Она окликнула Клашку, свою маленькую сестричку-подростка, и с ней вместе пошла к дому. Я тоже вышел из землянки, раздумывая, что мне делать. Что-то мешало мне теперь же уйти отсюда. К тому же надо было позаботиться о машине. Признаться, я не был вполне убежден, что немцы уже сейчас могут здесь появиться.

На всякий случай я обошел овраг, чтобы посмотреть, что делается на дороге, но было слишком темно. Метель улеглась. Ветер же выл с прежней силой и покрывал все ночные звуки.

Сильно промерзнув, я решил вернуться в землянку. Когда я уже опустился в овраг, за моей спиной со стороны дома раздался глухой крик и вслед за ним прогремел выстрел.

Я снова бросился наверх и, выбежав из кустов, едва не столкнулся с Ульяной. Увязая в снежном сугробе, она с трудом тащила на руках ребенка,

прикрывая его полой шубы. Увидев меня, девушка тихо вскрикнула и опустилась на снег вместе со своей ношей. Я заметил, что она вся дрожит.

— Что там случилось? — спросил я.

Она долго не могла говорить. Голос ее срывался, и она с трудом дышала, словно кто-то невидимый душил ее.

Я взял из ее рук мальчугана. Он не плакал, не двигался. Страшная догадка осенила меня. Я прильнул лицом к его маленькому, еще недавно разгоряченному лбу. Он был сух, холоден и безжизнен.

— Тащите его скорее, — попросила Ульяна, поднимая поникшую было на грудь голову, и по ее тону нельзя было понять, знает ли она, что мальчик мертв.

— Идите, я сейчас, — добавила она требовательно и нетерпеливо оглянувшись на дом.

Я молча пошел со своей ношей к землянке. Туда же за мной прибежала маленькая Клавка.

— Они, видать, еле дошли, — говорила она про немцев. — Мокрые, на ногах не стоят. Спирту выпили и — храпеть, а один рыжий, как кот... лопочет по-ихнему.

Девочка перестала говорить и заплакала...

— Уля отбиваться стала, так он Матвейку схватил, да прямо с дверей — как кинет...

Она снова и уже неудержимо расплакалась, а мать, взяв от меня мальчика, положила его перед собой на скат землянки и, опустившись на колени, приня-

лаась молиться, подняв лицо к небу. Ветер трепал ее седые волосы и, подхватывая слова молитвы, уносил их в пустынное поле.

— Господи, прости ты ее! — донесся ко мне взволнованный шопот.

И тут в темном пространстве под навесом дома я увидел живые языки огня. Вытягиваясь и возвышаясь, они лизали сухую стену постройки. Вдруг пламя гибким и быстрым прыжком переметнулось на соломенную крышу и охватило ее.

В дыму и отсветах разгорающегося пожара мелькнула фигура Ульяны. Свалив на загорающееся крыльцо охапку сухого сена, она быстро, не оглядываясь, пошла к оврагу. Мы побежали ей навстречу. И мать, охватив голову дочери руками, прижала ее к своей груди.

Не прошло и нескольких минут, как старое сухое здание вместе с широким соломенным навесом пылало, охваченное со всех сторон яростным, бушующим пламенем.

Ветер рвал огонь на части, выл и носился над полем в дикой и радостной пляске мщения.

Немного спустя, взметнув огромный фонтан искр, обрушилась крыша, и клубы черного жирного дыма повалили в зимнее небо. Видно было, как раскрылось маленькое оконце в сенях и темная фигура, наполовину высунувшись наружу, бессильно повисла над пламенем.

Ульяна отвернулась и вместе с матерью пошла

к землянке, у которой, выбравшись наружу, столпились ребята и жадно, удивленными и испуганными глазами смотрели на страшное зрелище ночного пожара.

Клавка притащила большие саразки и принялась укладывать на них тело мальчика.

— Куда же вы теперь? — спросил я старую женщину.

— Да ведь куда? — сказала она. — Не мы первые без крова остались. Живут люди, и мы проживем. На хутор, что ли, Ульяна? — ласково обратилась она к дочери, все время поглаживая рукой ее плечи.

По всему тону старой женщины было видно, что случившееся сейчас только укрепило ее силы и, мне казалось, как-то увеличило ее надежды на жизнь.

Ульяна выпрямилась, освобождаясь из объятий матери. Лицо ее, освещенное светом пожара, казалось спокойным, но глаза необыкновенно светились. И когда она подозвала к себе ребят, я заметил легкую, как дыхание, улыбку на ее твердых и тонких губах.

* * *

Через час к месту пожара подошел большой отряд наших разведчиков, и с ними появился «сын степей». В окрестностях большого села завязался ожесточенный бой. Я проводил женщин и ребятишек через поле к опушке леса и долго смотрел вслед, пока их медленная процессия не исчезла за поворо-

том троны, уходящей в глубину заснеженного зимнего леса, к скрытой за деревьями деревушке.

Ветер стих. В торжественном и безмолвном величии занималась над холодной равниной утренняя заря. Унылое поле с торчащими над ним развалинами печных труб и чахлый болотный лес, обглоданный минами, покрылись розоватым сверкающим светом и засияли тысячами игольчатых снежных искр. Откуда-то, с той стороны поля, доносился деловитый рокот пулемета, а когда он смолк, в глубине леса послышался стук дятла.

Все это было началом нового дня, встающего над развалинами, над пеплом ночного пожара, словно в награду за благородную чистоту совершенного здесь человеческого подвига.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЗЫВ

(Партизанская легенда)

Эту историю рассказал мне недавно старик-партизан, один из тех, что весной 1942 года привезли нам в осажденный Ленинград обоз с продовольствием, собранным в тылу у немцев, в партизанском крае. Позднее я слышал этот рассказ в других вариантах. Легенда всегда приукрашивает быль и варьирует ее на разные лады. Я передаю все так, как услышал в первый раз.

* * *

Командир нашего отряда Кошкин—разнообразной биографии человек. Он корабельным попом в Цусимском бою участвовал. В гражданскую войну артиллерийским дивизионом командовал, а перед этой войной к нам в МТС механиком прибыл.

Сам он нрава строгого, — баб в отряд к себе не брад ни в какую. Если, говорит, женщина желает быть солдатом, она должна перестать быть женщиной.

Потом ему этот загиб разъяснили, но он и до разъяснения сам кое-что понял.

У нас в деревне девушка была одна, Катериной звали. Таких, может, на миллион одна рождается. Плясать станет — засмотришься, петь примется — кажется, душу бы свою вынул и ей к ногам положил. Стреляет не хуже, чем илещет, и птицу на лету в голову бьет. Сама смуглая, черноглазая. Взглянет тебе в лицо — у тебя в коленях слабость...

Ей бы самой атаманшей быть, а Кошкин ее в отряд не берет.

«С бабами, — говорит, — свяжешься — проку не будет. Лучше мне соблюдать исторический пример Стенала Разина...»

Ну и она не в долгу. Над всем его отрядом смеется. «Наши, — говорит, — партизаны ровню бы прошлогодние рыбаки: сети плетут, а рыбу не ловят».

А Кошкин тогда мало действовал. Он операцию большую готовил, силы собирал. Немцы между тем в деревнях шуровали. Они старуху Прохорову, которая эту Катерину с детства вынянчила и на ноги поставила, из избы на холод выгнали и до утра продержали на улице за то, что она ворами их назвала. Слегка старуха, недели три промучилась и померла, а Катерина, как ее схоронила, одна в Каменку пошла и гранату-лимонку в окно немецкой комендатуры махнула. Да на окне-то — не досмотрела она —

сетка была железная. Они их специально от партизанских гранат приспособляли.

Ну, лимонка по сетке скользнула только, а внутрь не прошла. Хорошо еще, что ее от сетки-то на крыльцо откинуло, где часовой стоял. Осколком его по ногам и рукам ударило. Упал он — выстрелить не успел. Это только Катерину и спасло да темнота ночная. В скорости после этого с Кошкиным у нее большой разговор вышел. Тут как раз партизаны немецкий самолет подбили — большой такой. На лесную дорогу грохнулся, до вечера горел. Крупные офицеры в нем ехали. Одних крестов потом нашли на пепелище больше дюжины. А летчик выбросился на парашюте. Ветром его прямо к нашей деревне отнесло. Бабы летчика на огородах поймали и ну скалками да вальками избивать. Очень в них злобы много накопилось. Тут два партизана прискакали на лошадях. Кое-как баб от парашютиста оттеснили: он, мол, нам для допроса нужен. Но только шагов на сорок отвели — бац! — из толпы выстрел. Пуля немцу между глаз прошла. А бабы все разом повернули, как по команде, и в деревню...

Вечером Кошкин вызывает Катерину к себе в штаб.

Пришла в землянку к нему, спиной к косяку прислонилась, стоит в дверях.

— Ну, — говорит Кошкин, — садись, рассказывай!

— Мерси, — отвечает, — не чай пить пришла.

— Ты чего мне пленных немцев переводишь?

— Что ж, солить их теперь?

Вот. Говори с бабой! Но сдержал он себя.

— Мне, мол, из-за твоего баловства своих людей тратить надо. Мне «язык» нужен, а она три из войны устраивает!

Слово за слово, — она хлопнула дверью, повернулась да и ушла. А Кошкин усы кусает — не в штаб же ему писать, что баба воевать мешает.

Только дня три прошло — две деревенские девки, подружки Катерины, к землянкам подошли.

— Принимай добро! — кричат. И прямо дежурному часовому под нос связанного немецкого ефрейтора с салазок сваливают. Ефрейтор этот всю немецкую дислокацию раскрыл. Операция партизанам удалась — лучше и желать не надо.

Кошкин от этого дела в восторг пришел. Вместе с лейтенантом одним, — из Красной Армии был прислан для связи, — пришли они к нам в деревню, говорят девкам так и так, просите, что хотите, любое дадим.

Смеется Катерина.

— Если, — говорит, — ты такой царь Додон, то давай нам гармониста.

— Ладно, — отвечает Кошкин, — будет вам гармонист, только срок выждите.

С той поры много дней прошло. Поля по весне тоскуют. Сидим мы в своей оккупированной деревне, тоже тоской да голодом мучаемся. Немцы к нам, правда, редко заглядывают. Морозы стоят, дороги

снегом замело, а деревня наша глухая, лесная, да и чего им ездить? Взять с нас нечего. Еще осенью все пограбили. Вот сидим мы, а моя изба крайняя. Тишина стоит. И вдруг слышим — песню с болота наносит, легонько так, словно майский ветерок траву колышет.

Старуха моя кричит мне, — хвора́я она была, с полатей не слезала:

— Выдь, мол, на крыльцо — никак песню поют!

— Кто это, — говорю, — песню может петь, раз сидим мы тут в рабстве, ограбленные, с голоду пухнем?!

А она подождала маленько да опять кличет:

— Выбежь, послушай. Это гармонь поет!

— Да нет, — говорю, — у нас во всей округности ни одного гармониста. Василия заречного, что на трехрядке играл, немцы еще осенью в Германию угнали. Андрейка-баянист с первых дней в красную артиллерию ушел..

Только слышу, в сенях кто-то двери с крючка рвет.

— Дядя Егор, дай лыжи, девушки на болото в лес собираются, там гармонист песню нашу советскую ведет!..

«Стой,—думаю,—что за диво?» Выхожу на крыльцо; слышу, песня с болота доносится, широкая такая, не то чтоб веселая, но задор в ней есть и силы много. Чувствую, наша она, родная, советская. И душа у меня под рубашкой зашевелилась.

Шутка ли — русскому человеку год с лишним песни родной не слышать? Значит, не брехала старуха. Однакож не она ведь песню-то намолвила! Тут разобраться надо. Опять же от песни этой мысли всякпе в голову идут. Может, что и случилось на свете, а мы тут сидим — не знаем.

Встал я сам на лыжи да в лес. Темнеть уж стало, да благо песня меня зовет — не собьешься.

А песня знакомая, хорошая — про парня одного, как он на шахту пришел и как его там приметили.

Выбираюсь я из чащи, а он на пеньке сидит. Увидал меня, играть перестал.

— Здорово, — говорят, — дед! Я знал, что кто-нибудь из своих придет. Не может русский человек свою песню позже немца услышать. — Смеется, а сам дрожит весь — замерз. Одна нога у него разута.

— Ты кто такой будешь? С неба, что ли, свалился? Или тебя старуха моя намолвила?

— А вам разве Кошкин ничего не говорил? Или пилот меня не в том месте сбросил?

«Ну, — думаю, — раз Кошкина знает — свой человек!»

— А где ж сапог твой?

— Я с того и песню заиграл, что сапог с меня слетел, когда я с самолета прыгал. Дернуло меня так, что думал, ноги вырвало. Хорошо, гармонь привязал. С ней я везде человек. С утра тут по снегу ходил — сапог искал. Не нашел. Что ж, думаю, помирать, что ли? Вот гармонь выручила.

Привел я его в деревню. Все больше на закорках

нес. Вот живет он у нас, ногу отмороженную залечил. Задание выполняет: ходит по соседним деревням песни играет, в партизаны зовет, про Красную Армию разъясняет. Девушки наши рады — не нарадуются. Поют под гармонь, и вроде жить им легче.

Только замечать стали, что больно глаза у Катерины блестят, как она песни поет. А гармонист, — Григорьем его звали, — как увидит ее, глаз поднять не может. Голову наклонит и так играть начнет, что, того и гляди, меха лопнут. Парень он был не то чтобы очень собой видный, но приятный, чистый лицом, веселый да и смелый.

Любовь, как война: придет, кстати, некстати — не спросит. Только не привелось любви их развернуться.

Раз сидят они так вечером у Степановых в избе. Григорий на гармонию лады выводит, а девки поют. Все чисто, как до оккупации. Степанова хозяйка и то уж говорит:

— Поете без строгости. Вдруг немцы понасядут. Уж тепло стало, теперь им замерзнуть страху нет.

Только она это скажи — собаки у околицы брешут. Глянули девки в окно: конный отряд немецкий. Да прямо к Степановой избе. Офицер вошел, длинный, с повязкой на руке.

— Цырли-мырли. Кто тут советские песни играет?

Полицейский за ним и предатель один.

А Григорий, — только его и успели что на полаты укрыть, — лежит, не шелохнется.

Немец пристаёт:

— Выдавайте, иначе будет расстрел и сожжено все — файер, файер!

Опять молчат все. Офицер затвором щелкнул, обойму в автомат вставил, а тут мальчонка, Степановой хозяйки сынок, Володька — лет так пяти. Глазенки вытаращил, страшно, а все любопытно ему. Так уж они, мальцы эти, устроены.

Схватил его немец, в затылок автомат упер.

— Говорите, а то застрелю этого звереныша!

Ахнули все, задрожали. А Григорий с полатей слез. Белый, лица нет, только глаза светятся. И гармонь при нем на плече висит.

— А, гм... отлично! Ты нам и нужен!

А у них, оказывается, барон приехал — фон-Как или фон-Клак. В каменский колхоз — помещиком. Вот они праздник задумали устроить, а на гармониста причуда была. Это уж потом мы узнали.

Увели парня. Катерина скорей к Кошкину в лес. «Так и так, мол, — захватили Григория».

— Пробраться туда сможешь?

— О чем говорить! Пройду.

Две лимонки в юбку спрятала. Не в первый раз ей патрулей ихних окопачивать.

А Кошкин наказ ей дал:

— На Троицын день ждите. Мы на вырубях, у реки танься будем, а ты нам сигнал подай.

Иесню запой. Или Григорию передай, если случай будет...

А уж до Троицына дня недолго осталось.

Фон-Клак этот обед заказывает. Лакеи ему курей режут. Все, как до революции. Генерал прибыл, из себя молодой, лет под сорок. Лицо, как у птицы, очки на носу, голова блестит, ровно голенище.

Вот обед начали. Григория им ведут с гармонью.

«Ах, вы, — думает, — мерзавцы поганые! Скоро на вас лихо придет!..»

Однакож сидит, терпит. Только слышит—на дворе кони копытом стучат: наряд пришел. Тревожно ему стало. Слышит—плеть свистнула, крикнул кто-то... Голос знакомый!

Задрожали руки, осеклась гармонь. Смокла...

А тут дверь нараспашку, вталкивают ее, Катерину, два ефрейтора.

— Так и так, блям-курлям. Эта девка—партизанка, у нее лимонку нашли!

А офицеры уж осоловелые сидят, и генерал во хмелю.

— Ох, ты, красивая какая! Раздеть ее!

Метнулась она, как горлянка подстреленная. А вокруг немцы стоят, скалятся.

Григорий, не помня себя, к ней. А она вырвалась уже, на лавку вспрыгнула да из кос своих, — кокошником таким высоким сплетены у нее были, словно прутья тугие, — вторую лимонку оттуда и выхватила.

— Прыгай, — кричит Григорию, — в окно!

И плечом его закрывает.

Он, как был, с гармонью на ремне, так туда и свалился. А она — лимонку под стол да за ним. Ну, офицеры все шарахнулись. Кто куда, как крысы по углам. Но почти все здоровы остались. Подбегают к окну, а они уж с навеса — в палисадник. Оттуда очередь по ним. Ногу Катерине перебило. Припала она на траву. Через забор переметнуться не в силах. Григорий ее подхватил да в дровяник. Крепкий такой сарай был, с дубовой дверью, а наверху — голубятня.

Немцы гранату метнули, стрелять начали, только дверь с петель не сиялась. Григорию грудь сильно ранило. Немцы с перепугу-то пушку велют катить.

А Катерина Григорию между тем говорит:

— Эх, — говорит, — Гриша, не задалась наша любовь. И жить нам не пришлось вместе, вот только что умереть. Но и за то нашей судьбе спасибо. Можешь ли ты теперь песню сыграть, кошкинскую любимую? Партизаны тут недалеко хоронятся. Не спасут, так отомстят за нас!

Вот он сел на ступеньку, рану левым локтем прижал, меха развернул.

Немцы, как услышали песню в сарае, «Файер! — кричат. — Файер!»

Нули у них также есть. Постреляли немного и запылала голубятня: «Нусть-де в огне веселятся!»

Ну, а песня, она, как птица вольная. Над огнем взлетела, над полем поплыла и до вырубов достала.

Партизаны слышат — зовут их. Поднялись! Кто имел, на коня вскочил, а кто так, пулеметы по полю тащат.

А момент-то для боя не больно подходящий вышел. Весь отряд немецкий конный на фланг поскакал, офицеры враз протрезвели.

Прижали немецкие пулеметы партизан к земле. Не встать им — смерть кругом одна. Лежат, землю кусают. Только слышат — песня над полем несется, зовет, трещит, огнем горит.

Это Тригорий на голубятню поднялся, и Катерина с ним. Пламя вокруг языки тянет, вьется. А они поют оба, зовут, месть свою зовут!

Бойцы говорят:

— Товарищ Кошкин, они умирают, а мы что ж? Разве умереть как следует не сумеем?

Поднялись они в атаку, да так, что разом ворвались в село.

К усадьбе пробились, а уж голубятня вся огнем охвачена.

Однако песня еще из огня звучит. Да уж против судьбы не пойдешь. Только подбежали партизаны к постройке, рухнула голубятня. Искры в голубое небо взметнулись, и замолкло все. Тишина вдруг такая настала...

Потом уже, после боя, на пепелище нашли их обгорелые тела.

Так ведь что осталось? Прах один. А все видно друг друга за руки уделили и держат! Значит, так они и пели, рука об руку в огне стоя, песню свою последнюю! Не покорила их любовь ни воле вражеской, ни огню, ни смерти! Да что — смерть! Верно, теперь она по-над всем миром гремит-буйствует. Но только что — любовь ей все равно не убить в людях.

ФРЕСКА

В ИЮЛЕ 1941 года наша походная типография на несколько дней была расквартирована в сенях старинной дворянской усадьбы с деревянными крашенными колоннами на широком крыльце, со множеством дворовых построек и старым липовым парком, спускавшимся к неторопливой реке. Усадьба эта принадлежала некогда М. И. Муравьеву-Апостолу, декабристу.

Тогда шли первые тревожные дни войны. Мы жили еще по инерции. Мы все еще не верили до конца в силу жестокости; низость казалась нам исключением, добро — обыденным, стремление к прекрасному — общечеловеческим.

Линия фронта находилась недалеко от нас. Наши артиллерийские батареи постоянно гремели где-то рядом; неподвижный горячий воздух был пропитан гарью. Деревни пустели все более. Жители уходили в леса и угоняли скот.

Тогда я впервые увидел пленного немца. Помню, его вывели умываться во двор, где под ветвями

могучей ливневницы был укрыт фургон с нашей печатной машинной. Видимо, пленного доставили сюда ночью и держали тут в ожидании каких-то распоряжений.

С особенным, трудно изъяснимым чувством разглядывал я его узкий прямой затылок и обтянутую потертым сукном квадратную спину, словно в них заключалась какая-то нераскрытая еще формула этой войны.

Умывшись, немец достал из кармана розовенькую расческу и долго укладывал мокрые волосы.

Часовой беспечно и покровительственно поглядывал на него, словно дивясь, что ему поручили охранять этакую никудышнюю диковину. Двое бойцов, тащивших в свое подразделение крупу и сало со склада, остановились, разглядывая пленного.

— Чего не видели? — беззлобно заворчал на них часовой. — Человек, как человек, есть хочет и по нужде просится...

Подождав, пока немец кончит свой туалет, он повел его в сени; на крыльце им встретилась наша машинистка Соня, молоденькая бледная девушка. Пропуская пленного, она посторонилась, и в это время у нее из кармана гимнастерки выпал маленький батистовый платок. Не успела девушка заметить это, как немец стремительно и легко склонился к ее ногам, взял и, слегка встряхнув, с поклоном протянул платок владелице. Она смутилась и по-

краснела даже, но платок не взяла, и немец в замешательстве положил его на барьер. Уходя, он обернулся и, неловко помахав ей рукой, исчез за поворотом коридора.

Соня ничего не сказала. Она вообще не любила говорить лишнее. Она спросила только, не знаю ли я, где Аксенов, — скоро надо было принимать сводку.

Аксенов, неуклюжий высокий парень, бывший у нас радистом, при желании мог бы стать и капельмейстером духового оркестра, и старшим механиком ремонтных мастерских, и кем вы только захотите. Он имел довольно основательные понятия о самых разнообразных вещах и за все брался с охотой и увлечением. Принять тогда сводку Информбюро по радио было для нас делом чрезвычайно трудным. Военный треск и шум, с которыми наступала гитлеровская армия, сопровождался неистовым треском в эфире. Какие-то громкоголосые радиостанции скрещивали свои волны в эфире, и сквозь их разноязычные голоса трудно было разобрать слова сводки. Только искусство Аксенова и терпение Соня выручали нас.

Аксенова мы нашли в одной из комнат старого полукаменного флигеля, расположенного тут же у дома. Придерживая за ремень портупеи хирурга Лялина, он ~~увлеченно~~ говорил ему что-то о преимуществах кобальтовых и марсовых пигментов во фресковой живописи.

— Посмотрите...— прервал он самого себя, завидев нас, — не правда ли, это просто удивительно?

Он потащил нас к изгибу окружавшей веранду стены и остановился вместе с нами, захваченный пленительной силой искусства. Со стены прямо и просто смотрело на нас лицо молодой женщины. Кроме этого лица, ничего не осталось от фрески, но можно было до осязаемости ясно представить себе эту женщину, как если бы она была живой. И это воплощение живого творчества здесь, среди разрушения, смерти, напомнило нам о том великом, что мы защищаем и ради чего боремся теперь.

Тяжелые удары, один за другим, внезапно потрясли землю. Сквозь окно мы увидели столбы пыли и дыма за капустными грядками, над полем, где росла рожь. В дыму, по-галочьи накренившись набок, вились черные тени пикирующих бомбардировщиков. Их была целая стая — штук тридцать.

Мы все, только что поддавшиеся обаянию красоты, видели теперь дикую пляску смерти и чувствовали, что ее слепая рука уже тянется к нам и, невидимая, шарит вокруг.

Разворачиваясь для пикирования, самолеты пронеслись над самой усадьбой, а один из них начал, словно для забавы, пикировать на дом. Скрежещущий, нарастающий вой железа невольно заставлял напрягаться непривычные нервы. Мы испытывали страх, и он мучил нас болью оскорбленного достоинства.

— Противно думать, — сказал хирург, — что там, в этой машине, сидит какой-нибудь судетский немчик в грязном белье, вроде нашего пленного. И вот мы готовы лечь на живот и превратиться в ничто, потому что нами управляет инстинкт самосохранения...

— Не обязательно, — сказала Соня, и юное лицо ее вспыхнуло, а затем медленно побледнело, и прямая решительная складка пересекла ее лоб.

— А вы заметили, какое у этого немчика странное выражение лица? — сказал Аксенов. — Я обратил на это внимание, когда мы подыскивали ему тут место. Точно он знает что-то очень важное и только не говорит что.

— Пожалуй, это так, — согласился хирург. — Однако странно, — добавил он, — почему они все время бомбят это поле? Вероятно, они думают, что здесь заложены мины.

— Я пойду принимать сводку, — сказала вдруг Соня и направилась к выходу.

— Подождите, — остановил ее Аксенов. — Если они увидят здесь хоть одного из нас, они снесут усадьбу.

— Не могу из-за них оставлять свою работу, — резко сказала девушка и вспыхнула снова.

И вот уже ее легкая фигурка появилась на деревянной панели у крыльца. В то же время над кронами лиственниц вновь показался самолет с оранжевыми оконечностями плоскостей. Три яйцевидных черных предмета один за другим мелькнули

под машиной, и мы услышали характерный нарастающий и давящий свист. Он прижал нас на месте в мгновенном сознании неминуемой смерти и, придвинувшись, раскололся в оглушающем катастрофическом ударе. Свистящие огненные куски металла впились в стены, дыхание взрыва вынесло окно, раму, сорвало крышу. Сквозь пыль и дым мы увидели Соню. Отброшенная взрывом, она лежала у корней лиственницы и упрямым, гордым усилием пыталась выпрямить голову и подняться, но руки ее, упряясь в мокрую, обрызганную кровью траву, скользили...

Когда мы подбежали к ней, она лежала, уткнувшись лицом в траву, как будто капризничала и подетски шалила. Но в ее маленьком холодеющем теле уже не было жизни.

* * *

Мы отнесли тело Сони в парк к реке. Аксенов принес две лопаты, и мы принялись рыть могилу под липами, на высоком месте, не доступном половодью.

Бомбардировщики еще два раза появлялись над усадьбой, обстреливая ее пулеметным огнем. Тогда мы ложилась в могилу и в ней переживали стрельбу.

Хирург Лялин ушел в перевязочную: с поля приполз крестьянин с раздробленным предплечьем, и ему нужно было делать срочную операцию. Врач появился, когда мы уже окончили свое дело. Он хотел что-то

сказать, но, увидев на дороге пыль, пошел узнать не привезли ли раненых. Но, видимо, их направляли куда-то в другое место, а нам пришел приказ оставить усадьбу и отойти до рассвета в лес, к железнодорожной станции.

Раненых отвезли на грузовике и отправили повозки с медикаментами. Потом все три дороги, сходящиеся к усадьбе, заняли рычавшие в темноте гусеничные тягачи, перевозившие корпусную артиллерию. Потом откуда-то появился грузовик с тяжело ранеными, весь покрытый пылью, избитый осколками. Мы помогали переносить раненых в комнату, служившую Лялину операционной. Нельзя было не уважать этого человека, с худыми сутулыми плечами и нелепо висевшей португесей. Он никак не походил на военного, но в халате и с ландетом он был воином, решительным и непоколебимым.

Мы ушли с Аксеновым готовить к отъезду топографию. Оказалось, что дом тоже был разрушен бомбой, и наборщик сказал нам, что ранен часовой, охранявший пленного.

— А где же немец?

— Его перевели во флигель.

Лялин был занят до рассвета, и мы не хотели уезжать без него. Тягачи уже исчезли в темноте. Было очень тихо. Санитарки, помогавшие Лялину выносить раненых из операционной, клали их на мокрую от росы траву.

В это время над полем опять появились самоле-

ты. Один из них, очень похожий на большую птицу, стал кружиться над мельницей, у которой, как я вспомнил, Соня рвала вчера цветы, стоявшие теперь в баночке на подоконнике в сенях, где мы принимали сводку.

Самолет снизился и, примная широкими плоскостями колосья, подняв облака пыли, сел прямо на поле. Он остановился у холма, и тотчас же из него стали выскакивать серые фигуры и разбегаться по ржи.

Другие самолеты не стали садиться. В воздухе замелькали белые куполы, и под ними, дергаясь на шнурках, как тряпичные куклы, опускались немецкие солдаты. Но, видимо, начался ветер, и их отношение в сторону леса, к озеру.

Среди других раскрылся большой темный парашют, и на нем, тяжело и ровно, словно воздух был плотным, как вода, опустился вниз большой черный предмет — танк. Он стукнулся о землю и сразу зарычал и поднял хобот орудия. Этот хобот дрогнул, раздался выстрел, и от крашеной колонны крыльда полетели щепы, а другая сломалась в середине и закрипела, качаясь на железной скобе.

На грузовики торопливо, без необходимой уже осторожности складывали раненых. Ляпин стоял на крыльде, в белом халате, с ланцетом в руке, с видом человека, рассерженного тем, что ему помешали работать.

Он подбежал к машине, помогая девушкам, потом

подсадил их в кузов и протестуяще замахал руками. Должно быть, они не хотели ехать без него. Грузовик рванулся на дорогу и исчез, подымая пыль. Все это произошло очень быстро. Хорошо, что они спешили, потому что на дорогу уже выходили немцы и вели огонь. Наш типографский фургон помчался вслед за грузовиком. И танк стал стрелять по нему, но все время мимо, так что снаряды падали в стороне: у двух маленьких копен сена на скате, близ речной излучины.

— Быстрее! — крикнул нам доктор. — Быстрее — через реку в лес. Что вы стоите так?

Мы побежали прямо по капустным грядкам к парку.

— Подождите, — сказал Аксенов. — Вишь, какие «храбрецы» — лезут с десантом на лазарет! Подождите, сейчас начнут стрелять по ним наши! — Он был очень любопытен, этот Аксенов.

Мы не остановились, но мы все-таки оглянулись и тогда увидели, что нас догоняет боец с винтовкой, в обмотках, завернутых с тем особым форсом, как это было принято у заводских ребят нашей ополченческой дивизии, — чуть повыше щиколотки, так, чтобы только не было видно брезентовой подшивки к синим брюкам.

— Есть ли там кто еще? — спросил доктор.

— Нет, меня одного оставили у немца этого,

— Где он?

— Там.

— А немцы?

— Они обходят усадьбу с обеих сторон.

— Его нельзя оставлять,—сказал Аксенов. — Мы не должны.

— Быстрее,—сказал доктор, и мы повернули во двор.

Немец уже сидел на окне флигеля и как-то странно, испуганно и торжествующе поглядел на нас: он думал, что мы пробежим мимо. Часовой остался на огороде, и мы не сразу нашли ту дверь, которую было нужно. Она оказалась наглухо задвинутой толстой доской. Мы отодвинули доску и вбежали к немцу. Это была знакомая комната с фреской. И мы сразу увидели... Мы увидели, что он сделал с ней.

Немец же стоял в углу, глядя на нас со страхом и ожиданием, и вертел в руках кусок черного угля, и пальцы у него были замазаны углем. Он тут развлекался от скуки. Он приделал к изображенному на фреске лицу девушки грудь с выпяченными сосками и пририсовал расставленные в стороны ноги. Чорт знает, как это было мерзко! Это так поразило нас, что мы стояли неподвижно несколько секунд, хотя, наверно, это могло стоить нам жизни.

Совсем близко заклопали выстрелы. На деревянной панельке у крыльца раздался топот сапог. Мы увидели коротконового толстого немца с автоматом. Он пробежал к усадьбе под окнами нашего фли-

гелька. Мы ничем не выдали себя, и немец пробежал мимо. Пленный тоже молчал: он побоялся крикнуть, и этот его страх напомнил нам о том, что мы должны были решить, прежде чем погибнуть самим.

Я взглянул на доктора. Откинув полу халата, он неумело расстегивал кобуру.

— Бежать поздно, — сказал он.

Быть может, он думал, что он кричит, — такое у него было лицо, но он сказал это совсем тихо. Аксенов вынул свой «ТТ», а у меня был старый коровинский второй номер. И я боялся, что пуля застрянет в стволе и мне придется увидеть своих товарищей мертвыми, пока я буду менять пистолет.

Тут я опять посмотрел на пленного немца, и его страх снова напомнил мне о том, что уже надо было решить. Я взглянул на доктора, и он понял мои мысли. Я знал, что Аксенов тоже подумал об этом, потому что он отвернулся к окну. Я тоже отвернулся.

— Хорошо, я сделаю еще и эту операцию, — сказал Лялин.

У него тоже был «ТТ», но, видимо, доктор имел весьма смутное представление о том, как нужно им пользоваться. Между тем это простая машина. Он оттянул наконец пружину и, должно быть, понял, что осталось нажать курок.

После этого он сунул пистолет в карман халата и сделал такое движение, словно хотел вымыть руки. Вероятно, это была привычка или так полага-

лось делать после операции, когда он удалял какую-нибудь опухоль или снимал гнойную ткань, отделяя ее от здорового тела.

— Наши, — прошептал Аксенов.

Он все смотрел в окно, и хотя мне был виден только его затылок и часть шеи, я почувствовал, что лицо его побледнело. Мы услышали шум моторов, надвигающийся со стороны реки.

Это были четыре наших штурмовика. В несколько минут они разметали в стороны весь десант. Мы наслаждались ревом машин и грохотом неожиданной атаки, совсем не думая о том, что она опасна и для нас.

Когда мы подбежали к реке, по усадьбе, где был высажен десант, открыла огонь еще и наша артиллерия.

СОДЕРЖАНИЕ

Маневр	3
«Кочегар бол»	11
Артиллерийская симфония	18
Три секунды	31
Любимое оружие	36
Вега	48
Ульяна	61
Последний призыв	71
Фреска	83

К ЧИТАТЕЛЯМ

Просим дать отзыв о содержании книги и ее оформлении. В отзыве укажите свой адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников издательство просит организовать сбор читательских отзывов на эту книгу.

Весь материал направляйте по адресу: Москва, Новая площадь, д. 6/8, изд-во „Молодая гвардия“.

Отв. редактор *Б. Евгеньев*

Подписано к печати 20/V 1944 г. 3 печ. л. (3,5 уч.-изд. л.).
45 000 зн. в печ. л. Л52344. Тираж 25 000 экз. Зак. 538.

Цена 2 р. 50 к.

Ф-ка юн. книги изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва,
ул. Фридриха Энгельса, 46.

8. 331.

Цена 2 р. 50 к.

